ИРИНА КИЧАНОВА-ЛИФШИЦ

ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ТО,

ЧТО Я ЖИВУ

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1982

ИРИНА КИЧАНОВА-ЛИФШИЦ ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ТО, ЧТО Я ЖИВУ

ИРИНА КИЧАНОВА-ЛИФШИЦ

ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ТО,

ЧТО Я ЖИВУ

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1982

Irina Kichanova-Lifshits

FORGIVE ME FOR LIVING

Книга печатается без ведома автора.

Copyright 1982 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018

Manufactured in the USA

СОДЕРЖАНИЕ

Мне как-то приснилось, что я никогда
не умру
И помнится мне, я во сне проклинал эту
милость,
Как бедная птица, что плачет в осеннем
бору,
Сознаньем бессмертья душа моя тяжко
томилась.

Владимир Лифшиц

Лихов переулок

Полуподвал старого кирпичного дома выходит окнами в большой унылый двор. В этом дворе я начала свою жизнь.

Помню совсем смутно из того возраста, когда начинаешь осознавать окружающий мир: я подхожу к матери, -- сейчас мне кажется, что я ее вижу тоненькой и красивой, как ее нарисовал в то время Федор Иванович Захаров. Касаюсь ее руки -- она вздрагивает и отдергивает руку. И слышу раздраженные слова: "Не смей прикасаться ко мне! У меня такая кожа, — я не выношу, когда ко мне прикасаются. Сколько раз я говорила!.." Потом помню, как сижу и роюсь в ящичке ее швейной машинки "Зингер", где лежат нитки, шпульки, ножницы и разные непонятные вещицы. Внезапно получаю затрещину... Видимо, мать действительно была нервная, но самое главное; я стала понимать, а вернее ощущать уже с тех пор ее неприязнь ко мне. Чем это было вызвано? — я так и не узнала. Зато отец был со мной приторно нежен, я и поныне не пойму, что тяжелее: откровенная раздражительность матери или чрезмерные ласки отца.

Я обуза, хотя меня тискают, играют со мной, а вернее -- в меня, как в куклу. И пугают. Страх пришел ко мне из Лихова. Через квартиру тянулся темный узкий коридор, и мне говорили, что из мрака этого коридора явятся какие-то ужасные существа, схватят и куда-то утащат. Я рано узнала ночные кошмары. Мне часто снился один

и тот же сон. Снилось, как ночью я выхожу через сени, гляжу на пустынный двор и в дальнем его краю вижу маленькую старушку. Я знаю, что она слепа, но, тем не менее, знает, где я нахожусь. Сейчас начнется охота за мной. Знаю, что старушка найдет меня и защекочет... Задыхаясь от страха, я бегу из сеней в кухню -- старушка в сенях. Перебегаю комнату -- старушка в кухне. Бегу в переднюю, есть надежда скрыться через парадный ход, но слышу ее быстрые шаги. Мне кажется -- сердце сейчас разорвется от ужаса... и я просыпаюсь. Этот сон во всех подробностях я видела много раз.

Мать шила. Ее сестра делала шляпы. Они всю жизнь ссорились между собой и выясняли отношения. Мужья, как ни старались, не могли их примирить. Да это было и невозможно; в своих непрестанных ссорах, яростных и бессмысленных, они находили смысл жизни.

Шила мать богатым нэповским барыням, они всегда приходили в котиковых манто и белых фетровых ботах. Когда они снимали манто, то обнаруживалось, что это молодые женщины в плиссированных юбочках выше колен, в низко напяленных на глаза шляпках.

В будний день раздавался звонок от фининспектора, приходил человек с бумажным портфелем, садился в столовой и начинал долго и оскорбительно допрашивать мать, сколько у нее заказчиц, сколько ей платят. Это было мне непонятно и отвратительно. Мать сперва говорила спокойно, но потом срывалась, отвечала

резко, невпопад и, как я теперь вспоминаю, с подавляемой яростью. А человек с портфелем был невозмутим, никуда не спешил, неторопливо допрашивал мастерицу от Лимерсье. Он – я видела это -- не просто выполнял долг, он явно получал удовольствие. Тетку он знал и почему-то не беспокоил.

Рядом с Лиховым на Петровке была кондитерская "Эйнем". На витрине вертелся круг, где в игрушечную кондитерскую входили и выходили игрушечные покупатели. Мне случалось бывать там довольно часто. Мать посылала купить десяток пирожных. Я их точно по заказу выбирала, продавщица в белом накрахмаленном передничке накладывала их в корзиночку из деревянных лучинок, которые по утрам шли на растопку. После работы мать сидела у стола и пила чай, заедая его сластями из этой корзиночки. Отец прозвал ее "сладкой пьяницей". Есть и такая страсть -- к сладкому, жирному, и чтобы – много.

Сестра матери, страдавшая паталогической скупостью, должна была кормить мужа на те гроши, которые он ей отпускал. Непонятно было, чем она сама питалась, но худой не была – кость у нее была широкая. В молодости, судя по всему, она была привлекательна, но не красотой, а удивительным здоровьем и как бы фарфоровой свежестью. Ей неведомо было чувство юмора, она была завистлива, гневлива и набожна. Муж изменял ей. Он возвращадся из Наркомата, его ждал в столовой один накрытый прибор; он важно садился, выпивал

”маленькую”, неторопливо съедал обед и уходил на ”совещание”. Возвращался он со своих совещаний поздно, и прислуге было велено говорить: ”Барин пришел”.

А у нас все шло по-другому. Мать, видимо, неплохо зарабатывала, а отец — музыкант — нищий, у него и прозвище было -- ”Ни кола, ни двора”. Отец попал под сокращение и слонялся без дела. Деньги, заработанные матерью, куда-то уходили, и у нас не было обеда. Мать была непрактична. На все лето уезжала в Крым, иногда брала меня с собой и бросала в каком-нибудь частном пансионате одну, помню, в Ялте, потом в Алупке. Один раз в день я получала обед и десять копеек на личные расходы. Помню, как я уезжала домой в Москву, одна. А кто мне брал билет -- не помню.

Одна из заказчиц матери устроила меня в балетную школу при Большом театре. Мне едва исполнилось шесть лет. Проучилась я там три года. Это требовало со стороны матери каких-то расходов и внимания. Там, среди нарядных и высокомерных девочек, я впервые узнала, какие сношенные у меня башмаки и как я убого одета. Все девочки в классе были холеные, в красивых воздушных пачках, мне же сшили вместо пачки уродливую длинную юбку навырост, ниже колен, и я слышала, как надо мной смеялись. Матери ничего не стоило бы сшить или купить мне настоящую пачку, но она считала, что это не нужно. Все мои мольбы ни к чему не привели.

Обиды, перенесенные в детстве, запоминаются на всю жизнь... Впрочем, я уже танцевала на сцене Большого театра вместе с другими девочками в детских партиях ”Пиковой дамы”, ”Раймонды”, в детском балете ”Фея кукол”. И вот тут-то мать решила, что все это ни к чему. Меня забрали из балетной школы. А я решила кончить жизнь самоубийством.

В зимнюю стужу, когда никого не было дома, я вышла на заснеженный двор и долго бродила босая, чтобы замерзнуть. Устав бродить и все никак не замерзая, я набрала снегу в таз, принесла домой, опустила в снег босые ноги и стала читать книгу.

Через два дня, возвращаясь из школы домой, я почувствовала непонятную слабость, и уже в Лиховом переулке, недалеко от дома, вынуждена была сесть на край тротуара. Наверно, я потеряля сознание, потому что не помню, кто и как доставил меня домой. Не помню, как болела. Когда вернулось сознание, а это произошло через много времени, меня поразили мои тонкие-тонкие руки. У моей постели сидел двоюродный брат Лева. Он был старше меня, его жизнь мало отличалась от моей. Я чувствовала, что он жалеет меня, но это была не обидная жалость.

... Трудно было привыкнуть к новой школе. Учителей не уважали и даже не боялись. Почти никто не учился. Я стала прогуливать, как и многие другие.

Не помню, каким образом я однажды зимой

оказалась в музее Изящных искусств*. Неожиданно для себя я попала в волшебный мир, где, к тому же, было очень тепло. Посетителей в то время почему-то почти не было, редко по гулким залам проходили экскурсии. Там, сама того не ведая, я стала приобщаться к искусству. Простаивала подолгу у Тициановой "Венеры перед зеркалом" (потом, как известно, ее продали за границу). Эта картина имела другое название: "Испуганная". Удивительное, пронзительное впечатление: она смотрит в зеркало и пугается собственной красоты.

В школе у меня были хорошие отметки только по рисованию. Физику, химию, черчение я не поняла, возненавидела, да и с грамматикой тоже и поныне осталась в дурных отношениях. Тщетно учительница математики Ксения Евгеньевна, влюбленная в свой предмет, доказывала, что математика -- это красота. Точные науки отпугивали меня. А красота была там, в зале, где царила Ника Самофракийская, вселяя в меня восторг, смешанный с необъяснимой печалью.

"В водоворотах снов и бреда,
Прорвавшись сквозь упор веков,
Клубится мрамор всех ветров,
Самофракийская Победа..."
(Макс Волошин)

---

* Сейчас он называется: Музей Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Литература вошла в мою жизнь тоже не со школьной парты. Дома у моего дяди были полные собрания Лескова, Гоголя, Толстого, Чехова и несколько томов Достоевского. Я прочла эти книги от корки до корки, даже те длинные романы Лескова, которые редко читают. А в Достоевского я так впилась (первым мне попался "Идиот"), что домашние, в общем-то не обращавшие внимания на меня, и, тем более, на мое чтение, отняли у меня книгу. Я не стала спорить, а побежала в районную библиотеку и там, в читальном зале, дочитала ее в один присест. С той поры Достоевский остался моим любимым писателем... Князь Мышкин, да еще Федя Протасов Толстого – два моих любимых литературных героя. И не просто литературных. Часто, не отдавая себе в этом отчета, я в некоторых жизненных ситуациях с ними соотносила свои поступки.

Неподалеку от Лихова, в Каретном переулке, рядом с Центральным рынком, жили мои дедушка и бабушка, родители матери. Место это называлось Церковным двором, потому что тут же стояла еще действующая в то время старая церковь. До сих пор так и не установлено -- какую церковь изобразил Поленов на своей картине "Московский дворик" – ту ли, что стояла когда-то на Арбате, или нашу, о которой я веду речь. У меня сомнений нет: нашу. Я слишком хорошо знала этот двор, потому что часто бывала у бабушки с дедушкой и во всех подробностях изучила закоулки двора и самую церковь, где висели ветхие знамена времен Полтавской битвы.

Дедушка служил официантом в ресторане "Савой" и однажды даже снялся в фильме "Человек из ресторана", где в эпизоде изображал одного из официантов... Жили дедушка с бабушкой в глубоком сыром подвале, сохранявшем устоявшийся запах опрятной бедности. Недалеко жила пьяница-прачка. Ее сын, — я помню этого довольно еще молодого человека, часто бывавшего в Лихове, — стал впоследствии известным художником и в двадцатых годах эмигрировал. Остались в Лихове несколько его работ, в том числе автопортрет и прелестные портреты лиховских сестер. По словам матери, Федор Иванович Захаров говорил, что самое трудное в портрете — это руки и глаза. Мне кажется, что ему удавалось и то, и другое... В глубине этого же церковного двора до сих пор стоит двухэтажный старинный дом, некогда принадлежавший великому актеру Щепкину. Здесь Гоголь читал "Мертвые души"... Об этом я узнала позднее.

Иногда по вечерам в Лихове, когда сестры оставляли свою работу и уходили последние заказчицы, в доме появлялись друзья, отец брал гитару — он был гитарист, ученик Николая Николаевича Кручинина — и сколько же старинных романсов и цыганских песен прозвучало в моем детстве!.. Под отцовскую гитару пела мать. Голос у нее был небольшой, но пела она очень хорошо. Пели цыганскую "Не вечернюю", пели любимую песню Пушкина "Матушка, что во поле пыльно". Считалось, что песня эта

не к добру. Но я ее особенно любила. Пели и старинные русские песни. А если отец запевал песню о казни Разина ”Словно море в час прибоя, площадь Красная шумит...”, – то я убегала, пряталась в сени и там плакала, чтобы никто не видел.

Потом пришла пора увлечения Малым театром. По совету тетки я обратилась к ее знакомому гардеробщику. ”Если дать ему денег, -- сказала тетка, -- он устроит тебя стоять в какой-нибудь ложе”... Я стала копить медяки и серебряные монеты и, накопив пару пригоршней, шла в театр. Грузный седой старик с огромными лапами, в которых мгновенно исчезали мои накопления, действительно находил мне место у стены какой-нибудь ложи, где я простаивала весь спектакль. В Малом был тогда замечательный состав. Я смотрела все подряд, но особенно Островского... Позже я поняла, что за деньги, которые вручала гардеробщику, могла бы покупать в кассе билет в первый ряд партера. Представляю, как он потешался надо мной.

Детство кончено...

Из восьмого класса школы я ушла. Но мне кажется, что именно после этого началось мое образование. Отцу удалось устроить меня в архитектурную мастерскую в Замоскворечье. Там работали архитекторы и художники-проектировщики. Сначала меня научили подбирать колера, затем -- немного -- черчению, аксонометрии. Всем этим я занималась с увлечением.

Вместе с архитекторами, среди которых были и художники, я впервые стала рисовать с натуры, живую модель. Вставала я в шесть часов утра, когда зимой было еще совсем темно, и шла пешком в Замоскворечье, а возвращалась иногда в полночь. Но из архитектурной мастерской мне пришлось уйти потому, что ее просто-напросто снесли: Москва строилась и перестраивалась. Меня приняли на работу помощником художника на кинофабрику Детфильм, в группу режиссера Маргариты Барской.

Кинофабрика помещалась в моем Лиховом переулке, напротив нашего дома. Сейчас там фабрика документальных фильмов. Из подростка я превратилась в девушку. Ко мне стали приставать на улице. Меня это злило, и когда как-то возле кинофабрики ко мне подошел режиссер Игорь Савченко и познакомил с молодым, похожим на Есенина, человеком, сказав, что это композитор Никита Богословский, я поторопилась уйти. В ту пору я расписывала бронзовые "золотые колосья" на сельскохозяйственной выставке — каждое зерно было величиной чуть ли не с дыню...

Стояло знойное пыльное лето. Попрощавшись с новым знакомым, я неожиданно услышала за спиной дробный стук шагов, — меня догонял Никита Богословский. Тоном, не допускавшим возражений, он предложил пойти с ним пообедать в "Метрополь". Меня озлила его самоуверенность. Богословский настаивал. Я подошла к милиционеру и попросила оградить меня от приставаний. Никита покраснел, пробормотал что-то на-

счет моей невоспитанности и ретировался. А я поехала расписывать свои дынеподобные зерна...

... Май 1978-го года. Мне шестьдесят лет. Целый год я жду весну. И никогда не радуюсь ей. Особенно сейчас, когда силы на исходе.

Переделкино. Весна холодная, затяжная, красивая и такая тяжелая, такая безнадежная, как никогда. Перед окном стоят два тополя. На птичьей кормушке (ее построил поэт Арсений Тарковский, живший в этой комнате до нас) идет развеселая жизнь. К нам прилетают воробьи, синицы, дятлы, сойки, бегает трясогузка. Все нарядные, беспечные, до чего же они хороши! Как славно сложились их судьбы. Конечно, при условии, что они не попадут в руки людей... Когда-то Евгений Шварц говорил мне: ”А вы разве не знаете, Иришка, что лес и его жизнь — сущий ад. Это беспрерывная война и взаимоистребление”. Возможно. Но глядеть на эту стаю, где птицы уступают друг другу место за ”столом” так радостно. И не похоже, чтобы они истребляли друг лруга. Мне все чаще вспоминаются строки Чичибабина: ”Сними с меня усталость, матерь смерть”...

Усталость. Не будет ли она мешать моей работе? Моим попыткам отмотать из памяти то, что важно, и не трогать того, что не представляет интереса...

...Дома становилось невыносимо. Гнетущую лиховскую обстановку не спасала даже отцовская гитара. Двоюродный брат Лева, связав-

шись со шпаной Цветного бульвара, исчез из дома навсегда. Под любым предлогом я уходила из дому, бродила по Церковному двору, общаясь со сверстниками, тоже почему-то какими-то неприкаянными, или уходила в Дом кино, -- глазела на кинозвезд и мечтала сама стать актрисой.

В один из унылых лиховских вечеров, когда отец щелкал на счетах, стучала швейная машина, шел осенний дождь, зазвонил телефон. Это был Богословский. Так, словно ничего неловкого между нами полгода назад не произошло, узнав откуда-то мой телефон, он вежливо пригласил меня на свой концерт. Я также, как ни в чем не бывало, согласилась.

После концерта мы поехали ужинать. И Никита, совершенно неожиданно для меня, волнуясь, и как-то старомодно сделал мне предложение. И так же неожиданно я его приняла.

Теперь, вспоминая об этом, я понимаю, что в моем решении главную роль сыграла возможность вырваться из ненавистного Лихова.

Возвращаясь домой, я понимала, что покидаю Лихов навсегда. Что бы ни ждало меня впереди, с постылым Лиховым, с его тоской и непрерывными сварами покончено.

Я ухожу из Лихова

Итак, на следующее утро, как было условлено, мы встретились с Никитой и бросились в ближайший загс.

В старом обветшалом доме, взбежав на каменную площадку, мы влетели сначала в комнату, где регистрировали смерти. Впрочем, это нас не смутило.

В комнате напротив нас зарегистрировали. На это ушло минуты три.

Без "Свадебного марша" Мендельсона, без такси с кольцами на борту, воздушными шариками и пластмассовой куклой на радиаторе.

В сущности это была всего лишь наша третья встреча. Но мы как бы перечеркнули все, что было у нас в прошлом, и важным было лишь то, что происходит сейчас. Нам обоим сразу стало казаться, что мы всегда были вместе. Что мы созданы друг для друга.

Я переехала в большой люкс гостиницы "Москва", где жил в то время ленинградский композитор Никита Богословский, писавший музыку для какого-то московского фильма.

Во многом мы были совершенно разными с Никитой, но в чем-то и очень походили друг на друга. Не берусь судить -- кто был взбалмошней – он или я.

Мы помчались по жизни с такой стремительномтью, что пришлось на ходу перестраивать себя на новый, неведомый мне лад. Мне был непривычен и временами непосилен темп его жизни. Скажем, за обедом в ресторане он не мог

усидеть на месте, не обегав весь зал и не посидев чуть ли не за каждым столиком.

Ему нужно было еще и еще завоевывать новые дружбы и знакомства. Иван Дзержинский, находившийся на гребне славы, и Соловьев-Седой, только начинавший свое восхождение, были его самыми близкими друзьями. Актриса Валентина Серова, недавно вышедшая замуж за летчика Анатолия Серова, герои Арктики, подчеркнуто скромные чекисты, увешанные орденами, обаятельно заикающийся Михалков, охотно читавший стихи о том, как он приехал на Кавказ, сел на лошадь в первый раз, -- вся эта разудалая компания по вечерам неслась из ''Националя'' в Клуб Мастеров Искусств, из ЦДРИ в Кавказский ресторан. Никита щедро тратил деньги, ему нравилось всех угощать, давать большие чаевые.

Это происходило в ту пору, когда по Москве ночами сновали ''черные вороны''. Меня даже тогда, ничего не понимавшую, поражало и пугало, как среди этих непрестанных развлечений и кутежей то и дело навсегда исчезали некоторые наши знакомые. Об их исчезновении либо молчали, либо говорили в шутливом тоне: ''Вы слышали, как брали Лильку? В театре, в антракте к ней подошли двое. ''Мы с вами где-то встречались''... Взяли ее под руки и увели''. Было во всем этом что-то от пира во время чумы. Звучат в ушах слова Кавалерова из ''Зависти'':

''Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Вы, сидящие справа под пальмочкой, — урод номер первый... Дальше: урод номер

второй... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?"

Работа Никиты на московской кинофабрике пришла к концу. Деньги тоже кончились.

Мы поехали в Ленинград. В этом городе я оказалась впервые.

Загородный. Пять углов. Огромная комната. Рояль. Следы кутежей.

Что я буду делать и чем заниматься в этом новом доме, я не знала.

За стеной жила бабушка Никиты, целыми днями лежавшая на диване и читавшая французские романы.

Новое, неизвестное страшит. Я не почувствовала красоты улицы Росси (там находился Союз композиторов), и холодный блеск каналов пугал меня.

Никита продолжал носиться по городу с еще большим остервенением, чем в Москве, но только по ленинградскому кругу: из Дома кино в Дом актера, с банкета на банкет, и вскоре такой образ жизни стал меня утомлять. Правда, мы довольно часто бывали на концертах в филармонии.

Дома Никита иногда садился за рояль и пытался работать над симфонией, которую он так никогда и не написал. Но многие ее фрагменты стали впоследствии его песнями.

Приходили приятели: известные композиторы, музыковеды, все они звались Васьками, Ваньками, -- таков был стиль. Много пили.

Вскоре я начала томиться отсутствием работы, какого-нибудь дела. В этой непрестанной

суете я чувствовала себя совсем заброшенной. Все чаще я стала уклоняться от этих шумных вечеров. Предпочитала оставаться дома.

Никита же продолжал жить теперь уже неведомой для меня жизнью. От бабки я узнала о его прошлом образе жизни. Его посещали приятельницы, приходили с утра пораньше, в дни его холостого бытия. Утро начиналось со звонка. Никита встречал свою гостью, провожал ее в свою студию и недолго что-то играл на рояле. Потом все затихало. После чего Никита старался избавиться от своей посетительницы, потому что, по уверениям Надежды Николавны, он их мог принимать лишь от 8 до 10.

На Загородный пришел к Никите очень милый человек, Боря Зисерман. Никита успел мне сообщить, что его жена -- возлюбленная Мих. Мих. Зощенко. Жена эта -- Ольга Шепелева, уверенная в себе, с ярким румянцем, чудесным большим ртом. Я слышала, что в школе она считалась первой красавицей. Собственно, о М.М. я услышала из уст Бори. Рассказ этот был пронизан таким восхищением и таким обожанием, что его трудно мне сейчас передать. -- "Это не такой человек, какими бывают люди. Ему достаточно взглянуть, и он будет все о вас знать. Вы погодите, я покажу его вам". И действительно, как-то вечером Боря Зисерман заехал за мной, и мы поехали в Дом кино, где в вестибюле толпился народ. Фильм кончился. Меня подвели к яркой, свежей Оле, а рядом с ней стоял очень стройный, легкий в своей стройности и худобе Михаил Михалыч. Темные сухие руки

перебирали четки. Он курил, был спокоен, грустен. Все в нем было гармонично, мне с первых минут знакомства показалось, будто я знала его давно-давно... И мне с ним легко, интересно.

И получилось так, что Боря Зисерман, Оля, я и Мих. Мих. вышли на улицу и поехали на Плеханова, чтобы играть в карты, в девятку. Я струсила. В карты я играть не умела и не любила. И стала отказываться от игры, объясняя, что все равно мне не понять, и не получится. Однако Мих. Мих. спокойно объяснил мне правила игры, и вот уже я, не веря себе, играю и неожиданно всех обыгрываю. Встав из-за стола, я тут же забыла, как играют в эту игру, и никогда не научилась я играть в карты. Вот разве пасьянсы, но зто потом.

Сейчас надо было найти себе занятие, как-то устроить жизнь. Я вдруг узнала, что Мих. Мих., несмотря на свою славу очень прост и доступен, что он придет ко мне и станет отвечать на мои вопросы, что он расскажет мне о своей теории флюидов и объяснит ее мне. Бывают дни с хорошим флюидом, бывают со средними, бывают с плохими и очень плохими флюидами. На мой вопрос, как нужно вести себя в дни плохих флюидов, Мих. Мих. говорил, что не нужно ничего предпринимать, стараться меньше общаться, читать. Я рассказала ему о своем страхе перед жизнью. Мне казалось, что жить можно, только зная, что можешь уйти из жизни в любой момент, когда станет невмоготу. На это он возразил очень горячо и убежденно: ”Глупая, вы же таким образом лишите себя самого интересного —

перехода в неведомое..." Позднее я узнала, что он верующий.

После войны в Москве, в той же гостинице "Москва" встретились М.М. с Ю.К.Олешей. Они сели за стол, и Ю.К. спросил: "Миша, скажи, Бог есть?" -- "Да, есть", -- М.М. ответил не сразу, но так, что это прозвучало убедительно.

Почему он приходил ко мне? Я многие годы не задавала себе этого вопроса, а сегодня задаю. Он видел меня одинокую, растерянную, задающую себе и ему тот же вопрос: зачем я здесь? В этом мире? За что?

И от него я узнала волшебную сказку о зеленой калитке. Рассказывая ее, он, конечно, говорил о себе, о том, как он вошел случайно в эту калитку, где его окружили чудесные добрые сильные звери, волшебное царство знания, любви и добра, и как потом уйдя он всю жизнь мечтал туда вернуться, но множество причин всегда мешали этому, и как он продолжал надеяться вновь туда попасть, но дела и обстоятельства, и снова дела и...

Я с жаром стала доказывать, что уж ежели бы мне удалось найти ту калитку, то я бы непременно выкроила бы время в нее вернуться. А сегодня вспоминаю и думаю, нет, не нашла бы я зеленой калитки, а впрочем, найду, когда для меня откроется калитка эта, высшая милость и награда, и надежда вновь обрести Володю...

Когда я впервые пришла к Зощенко домой, меня поразила его необыкновенно простая и опрятная комната. В ней не было ничего лишнего.

Железная кровать, два стула, только в углу стояло старинное маленькое бюро красного дерева, за которым он работал. Все опрятно, почти как в больнице. Книг мало. Мих. Мих. считал, что иметь много книг не следует, надо иметь только самые любимые: Пушкина, Гоголя.

Я восхищалась М.М. и верила, что он может все. Иногда он брал карты и гадал мне. Во всем его облике был отпечаток спокойной грусти. Он приходил на Загородный, человек, который не только выслушивал меня, но и сам с охотой рассказывал о себе. С таким же оттенком грустного и милого воспоминания он рассказал, как в день своей свадьбы изменил жене, пойдя проводить ее подругу домой.

Я никогда (да и не только я) не видела М.М. с женой. Он нигде с ней не появлялся. Когда я уходила из его скромной комнаты, мне бросились в глаза белые розы на роскошной французской кровати в соседней комнате. Это было так непохоже на М.М. ... Там царила В.Н., женщина таинственная, о которой он предпочитал вообще не говорить.

Михаил Михайлович испытывал любопытство к тому, как сложатся наши отношения с Никитой Богословским. Никита был ему интересен. Мих. Мих. общался с людьми разными, порой и с теми, кто не соответствовал ни его интеллекту, ни его духовному складу. Часто он просиживал в пивной на Невском с кружкой пива. Там были его герои. Были они и в литературных кругах. Он успевал всюду, и при этом в нем не было ни тени торопливости. В памяти

остался его остро отрезвляющий жест – сидя в любой компании и ведя интересный разговор, он вдруг доставал из кармана часы на цепочке и мельком глядел на них. Это значило – сейчас он встанет и попрощается. И не было такой силы, которая могла бы его удержать хотя бы на минуту, если время его звало.

Люди, дружившие с М.М. могли быть между собой заклятыми врагами. Он не входил в чужие распри, но судьбы знакомых его интересовали. Он охотно выслушивал их рассказы, но в его заинтересованности была и отрешенность художника. Погружаясь в людские росказни, он как бы и отводил их от себя. А людей он действительно знал. Правда, как потом выяснилось, нередко и ошибался. Когда он сталкивался с трусостью и предательством, -- удивлялся, и не мог поверить в это...

Вскоре я обнаружила, как шаток наш скоропалительный брак с Никитой. Каждое утро он несся вниз по лестнице навстречу новым приключениям с такой быстротой, как проводят палкой по прутьям решетки.

Я не понимала и не знала его жизни, относилась к окружающим его людям подозрительно, с недоверием, уклонялась от хождения по "злачным местам" вместе с ним. Мне казалось, что все знают о моей растерянности.

Злые языки прозвали Богословского "горжеткой". Он был на удивление хорошенький. Сочинял стихи, эпиграммы. Был неистощим в розыгрышах, это было его любимым занятием.

Розыгрыши могли быть и смешными и опасными. Иногда – жестокими или нелепыми. Их было такое множество, что их можно собрать в объемистые тома. Но зачем? К чему?.. Вскоре я поняла, что, общий баловень и любимец слабого пола, Никита не столь уж безобиден. Его многие боялись, и, как потом выяснилось, не зря. К нам в дом стал довольно часто захаживать человек с холодными глазами, он был в каком-то большом военном звании. Был предупредителен и вежлив. Знаки его внимания ко мне пугали. Очевидно было, что и Никита его боится, и тайно связан с этим человеком. Звали его Лотышев.

Шел 1937 год. С испугом люди передавали друг другу новости о все новых и новых арестах. Установить, кого, за что и почему, -- было немыслимо. Меня предупреждали, чтобы я была осторожнее. Но в чем и с кем?

Я сидела у себя в пустой квартире на Загородном. У меня появился еще один друг. Ко мне стал часто наведываться странный мальчик с певуче-тонким голосом. Это был никитин знакомый Андрей Голов. Они пытались с Никитой писать либретто к "Аристократам", а у Никиты неплохо получалась музыка. Костя-капитан пел: "И далеко на далеком теплом юге, где я забуду горе и печаль, своей фартовой и ласковой подруге я расскажу про эту северную даль".

Андрей был способный, начитанный, умный и неприкаянный. У него был, несмотря на молодость, землистый цвет лица. Он рассказал, что с ним произошла странная история. У него была

жена. Они любили друг друга, но Андрей убедил ее вместе с ним покончить жизнь самоубийством. Они выпили какой-то фоторастворитель, и на улице их стала мучить жажда. Они бежали от одного киоска с газированной водой к другому, и пили, пили... Потом их подобрала скорая помощь, жизнь вернули, но жена больше не хотела видеть Андрея. Наверное, после этого случая Андрей и стал таким землистым.

Он приносил мне книги. "Хулио Хуренито" Эренбурга, "Зависть" Олеши, стихи молодого Хармса.

Как-то вечером, прихватив поллитра и батон, мы пошли в сторону Литейного. Пройдя длинный коридор коммунальной квартиры, мы вошли в комнату с двумя железными койками. У стены стояла старая фисгармония. Посередине стол с табуретками. На койке сидела очень худенькая милая женщина с такой стрижкой, которую спустя 30 лет станут называть сыпнотифозкой. У нее действительно был тиф, и волосы после болезни чуть отросли. Женщина была очаровательная. Я не обратила внимания на хозяина в высоких шнурованных сапогах. А это был Даниил Хармс, стихи которого я полюблю — и навсегда. Меня больше интересовала фисгармония, за которую я взгромоздилась и стала радоваться ее хриплым рыданиям. Мне понравился этот дом, но хозяин его в годы войны был арестован, а дорога туда мне была заказана.

Никита писал музыку для очередного фильма, и мы поехали в Одессу. Гостиница "Континенталь" на набережной Дюка Ришелье. Там

судьба мне сделала подарок. Я подружилась с другом Мих. Мих. Зощенко. Я уже говорила о бесконечной веренице его знакомых, но друг у него был – один. И остался им до конца. Бесстрастный, спокойный М.М. сказал как-то мне о нем: "Но признайтесь, Ирина, такого вы никогда и нигде не встречали". Да, действительно, не встречала. Это был Юрий Карлович Олеша. Я не берусь писать литературные портреты. Просто мне выпало счастье оказаться рядом с людьми, ненавидящими мещанство и насилие, так непохожими на всех, с кем сталкивала и еще будет сталкивать жизнь. Я вошла в круг чистой воды, в круг их бесед, их интересов, их дружбы и взаимной преданности.

Никите импонировала моя дружба со столь знаменитыми литераторами. Он тоже захаживал к ним, а потом бегал по гостинице, кого-то навещал, обегал столики в ресторане и снова исчезал в неизвестном направлении.

Возвратясь в Ленинград, я вечерами ждала его по-прежнему, и сквозь сон слышала среди ночи очаровательный поворот ключа. Непонятная, закрытая от меня жизнь Богословского не оставляла меня безучастной. Сказать по правде, она мучала меня. Я ревновала, томилась, предпочитала оставаться дома, а если он тащил меня в какое-либо шумное заведение, то, улучив момент, я тайком хватала пальто с вешалки и возвращалась на Загородный к Пяти углам. Но утром я снова была в "Европейской", где остановился Олеша и куда к другу спешил М.М. Юрий Карлович ждал, поглядывая в окно. Так

мы стояли с ним, когда, увидя друга на улице, Олеша повернулся в мою сторону и сказал: "А вот идет Зощенко на своих кроватных ножках". Потом внезапно изменился в лице и прошептал, с ужасом глядя на меня: "Вы ему этого не скажете, правда?".

Обычно мы шли в кафе "Европейское", там и завтракали.

При мне однажды Юрий Карлович рассказал М.М.:

-- Ты знаешь, Миша, я тут попал в парикмахерскую, сел в кресло, погрузился в отдых, ждал, чтобы меня постригли и побрили, а мастер мне нагло стал хамить, и я вскочил с места, сдернул салфетку и стал топтать ее!

-- Зачем? -- поморщился М.М.

-- А затем, что если я сел в кресло к парикмахеру, то это для меня -- праздник! Отдых! -- горячился Ю.К.

-- Не надо было... Не нужно было этого делать, Юра...

М.М. не любил шума, не мог обидеть когонибудь зазря и когда отходил от рабочего стола, он жаждал тишины как праздника.

Как-то М.М. пришел на Загородный вечером и застал меня в растрепанном состоянии. Никита, с которым я только что рассорилась, умчался в неизвестном направлении, и я начала сбивчиво жаловаться на него и на судьбу. М.М. обиделся и сказал довольно раздраженно, что он не утешитель, и что я неправильно себя веду.

-- А что я такого сделала?

-- Вы? Вы вот что сделали -- вы испортили мне вечер.

-- А чем я его испортила?

-- Ну, вы просто меня не знаете. Я обычно вечером в некотором роде отвлекаюсь, пью... слегка пью...

Вот как только он сказал эти слова: "я пью", мне стала понятна его нежная и детская душа. Нет, он не убедил меня, что он пьет и напивается, как не убедил и в том, что равнодушен к чужим бедам.

Олеша

Он произносил часто первые слоги фразы с ударением, а в конце замедлял ее. Такую манеру говорить у него пытались заимствовать, но так не получалось ни у кого.

Снова вспоминаю вопрос М.М. Зощенко: "Но скажите, Ирина, правда, такого вы не встречали никогда?"

Олеша, как правило, влюблял в себя. К этому можно добавить, что он не ставил себе это целью. Он никогда не кокетничал. Просто был неподражаем. Встреча с ним всегда была радостью. Вот издали увидишь его -- и сразу обо всем позабудешь. Думаешь: вот идет Юрий Карлович. Это он подарил тебе в детстве самую чудесную сказку. Неужели! Сколько было мне лет, когда я смотрела "Трех толстяков" в помещении старого МХАТа, а потом балет? Наверное, восемь...

Мы познакомились в ресторане. Шумная компания подсела за стол. Вы потом сказали про нашу первую встречу: ”Я увидел Вас и произнес Вот вошла девушка с высоким лбом”. Если бы я могла только передать, сколь ненавистен мне был мой лоб! Но это произнесли Вы, и мы стали знакомы, а потом мы будем друзьями, друзьми до конца.

Сколько же пишут о Вас сегодня, Юрий Карлович... И сколько еще расскажут о Вас ваши современники. К сожалению, будет много елейного. Это у нас так принято.

А мне Вы нравились всегда, в любом состоянии. Мне нравилось, когда Вы бранились. Когда Вы фантазировали или кого-нибудь уничтожали. Вы ведь умели все делать неподражаемо...

Юрий Карлович вспоминал, как в семье Михаила Голодного жил попугай и как он всегда по существу верно давал оценку всему происходящему: иногда он кричал ”бляди, бляди!”, иногда -- ”попочка хочет спать”...

Что было присуще Ю.К., так это разнообразие. Я видела его и раздраженным. Но это бывало редко, Ю.К. был снисходителен к людям. Зато, как только он чувствовал в ком-то безликость высокопоставленности и чванство, то спуску не давал. Он ненавидел самодовольство, благополучность.

Последние годы Олеша много бродил, его можно было встретить в любую погоду на улице. Как-то, — темный осенний день, летит снег, — в идущей толпе я вижу Юрия Карловича, одиноко бредущего и размышляющего. Он был

всегда прекрасен. Когда был с людьми и когда был один. Он был прекрасен, когда шутил и смеялся. Он был великолепен, когда высмеивал кого-нибудь и когда скандалил. Вот это он делал неповторимо, законченно. И всегда его нехватало. И я ожидала ответа на вопрос, как дожидаются все, читающие интересную книгу. А что дальше? Заблуждение, присущее каждому, будто у любой истории бывает конец. Так же, наверное, не бывает конца у таких характеров. О нем будут еще вспоминать, он оставит следы своей свободы и своей силы. Вечно в движении, всегда неожиданный, сочетавший в себе вещи, казалось бы исключающие друг друга.

... Жизнь с Никитой была невыносима. Надо было сопротивляться тому, чтобы она тебя не захватила. И, обретя дружбу М.М. и Ю.К. Олеши, я старалась как можно чаще уходить к ним.

Олеша работал над своим сценарием. М.М. продолжал посещать его в "Европейской". Иногда из Москвы к Ю.К. приезжала его жена Ольга Густавовна. Она мне казалась неинтересной, может быть потому, что я не представляла, как у такого необыкновенного человека, как Олеша, может быть такая обыкновенная жена. Что-то в ней было от любимой старой куклы, с которой долго играли. Однако она, именно в силу того, что была женою Олеши, стала причиной одного моего неожиданного поступка, который нас с ней сблизил. Мы шли с ней вдвоем поздним вечером по Невскому, возвращались в гостиницу. И вдруг двое моряков преградили нам дорогу,

один из них схватил Ольгу Густавовну за руку. Я быстро и сильно отвесила каждому по оплеухе. И, неожиданно для меня, они исчезли. Я поскорей отвела Ольгу Густавовну в гостиницу. Она шагнула в комнату и с восторгом стала кричать: "Юра, сейчас Ирина избила двух мужчин, которые приставали ко мне! Если бы ты знал, как это было замечательно!!"

Я вообще-то никогда не дралась, но это была жена Олеши -- и я не могла не защитить ее.

В.В. Лебедев

И все же по вечерам надо было возвращаться домой на Загородный. А там я по-прежнему ни в чем не могла разобраться. Надо было что-то предпринять, и я думала о том, как наладить самостоятельную жизнь. Никита, наверное, почувствовал, что я могу уйти и прибегнул к открытой угрозе. Но это еще больше утвердило меня в том, что из этого дома надо уйти.

Но что я могу делать? -- думала я -- ну, буду продолжать работу как художник. На что буду жить? Стану натурщицей -- вот и заработок. А где жить? Сниму себе комнату.

Я вспомнила фамилию художника, картины которого видела в русском музее и которые так близки были мне. Там висел чудесный туманный пейзаж с Инженерным замком и портрет очень грустной женщины в бархатном платье. Картины были написаны Владимиром Васильевичем Лебедевым. Мне почему-то казалось, что именно к нему должна я пойти. Надо было узнать его

адрес. Где телефонная книга? Вот она. А вот и адрес. Я глянула в зеркало на заплаканные глаза, наскоро заделала красные пятна пудрой, взяла несколько, кстати, как потом поняла, позорно слабых своих рисунков, и смело пошла по новому адресу.

Дверь мне открыла пожилая сухопарая женщина. Я помню финский акцент, с которым она сказала: "Владимира Васильевича, это к вам пришли". Дверь из прихожей распахнулась, и я вошла в просторную, чистую -- нет, не чистую, а блиставшую чистотой, — студию. Что по-настоящему прекрасно, чувствуешь сразу. Все было так чудесно! Серый срезанный квадрат громадного окна, неведомый мне запах бензина и скипидара, антресоли с холстами, столы с папками, много кистей, холсты на столах и мольбертах, а в этом хаосе -- порядок, в хаосе -- мастер.

Я его увидела впервые. Я ничего не знала о нем, кроме его книжной графики и двух картин в Русском музее. Однако, немедля изложила цель своего визита. Сказала, что устала от неудачного брака — и вот хочу снова взяться за дело, и вот мои рисунки...

На меня спокойно глядели серые насмешливые глаза. Но все было так прекрасно в облике художника, что придало мне решимости -- я протянула ему мою папку. Мне очень жаль, что я так и не спросила у него, отчего он, увидя мои "шедевры", не сказал мне, чтобы я убиралась. Он посмотрел все внимательно и сказал: "Нет, это еще... Нет, дело в том. Вы... Понимаете, это

даже очень уверенно, только..." Словом, выслушав мою историю, он предложил мне стать его натурщицей. Мы назначили день работы.

Я ушла, окрыленная надеждой, унося в руках свои "творения". На площадке верхнего марша я оглянулась и поймала едва заметный взгляд и прощальное движение руки.

Я рисовала раньше с натуры в архитектурной мастерской, но сама никогда не позировала. И конечно же, очень волновалась. Сначала я позировала для ню. Владимир Васильевич взял картон. Сеанс начался. Но вскоре я увидела, что у него не ладится. Был порван первый, второй, начат третий набросок. Я видела, как он нервничает. Наконец, он сказал: "Отдохните, а потом продолжим".

Я накинула халат и села за стол. Из окна я увидела тот самый пейзаж с Инженерным замком, который висел в Русском музее. "Давайте попробуем портрет", -- сказал Лебедев. И я поняла, что что-то стронулось разом и во мне и в нем. Мы полюбили друг друга.

Жизнь моя разом изменилась. Хотя по-прежнему я бывала у Олеши в "Европейской", но ни ему, ни М.М. не говорила о своей встрече с Лебедевым. Казалось, будто я сама в нее не верила. А подружились мы с Лебедевым сразу. И он стал показывать мне все, начиная со своих самых ранних работ, когда, будучи мальчиком, он делал макеты рыцарских турниров. Это было выполнено так блистательно, -- невозможно было поверить, что это мог сделать ребенок. Он показывал мне свои книги, холсты, рассказывал

историю своих моделей, рассказывал о своем детстве, о своих отношениях со старшим братом, который был значительно сильней его и давал ему не раз это почувствовать. Тогда-то Лебедев и стал заниматься боксом: ему надо было рассчитаться с братом. А потом он полюбил этот вид спорта больше всего. Ему надо было быть победителем. Он любил силу и сильных. Владимир Васильевич стал в боксе международным судьей, его любили спортсмены.

Про него говорили, что он живет, как боярин в опале. А опала была. В 1938 году в газете "Правда" был подвал о Лебедеве как художнике, подвал этот назывался "Компрачикос". Я читала эту страшную статью, она была грубая, гнусная, могла в те годы иметь последствия самые страшные. Не сразу, но все утихомирилось, только страх с тех пор не покидал Лебедева. И он уходил от этого страха в город. Дома стены душили, не спасали от страха, город же он знал, как никто и любил как никто. И вот он с одержимостью первооткрывателя стал мне его показывать.

Мы пускались в длинные экскурсии по Петроградской стороне, по Васильевскому острову, шли вдоль каналов, в Летний сад, на Неву, на Дворцовую набережную, я видела дом Пиковой дамы, место встречи Лизы и Германа, Английскую набережную (Лебедев называл улицы старыми названиями). Он учил меня видеть этот город и влюбил в него. Это было странное чувство, порой мучительное. Так не любят искусство или архитектуру. Так любят чью-то душу, живую, неуловимую.

Я продолжала относиться к нашей встрече с ним, как к миражу, который вот-вот исчезнет, и не сразу поняла, что стала ему необходимой. Случилось так, что я должна была придти к нему вечером, но не смогла. И не могла предупредить по телефону. Я всегда была точна, но так вот случилось, и я явилась утром, чтобы все объяснить, -- а в мастерской был разгром. Телефонная книга, где были отмечены номера всех больниц и моргов, отделений милиции, -- была вся испещерена пометками. На меня был вылит такой шквал упреков, что я даже была польщена, но вскоре ликование прошло и сменилось страхом. Я поняла, как одинок этот, казалось бы, такой сильный, такой умный, такой настоящий мужчина. Но все же, пока я радовалась тому, что он воспринимал меня как свою собственность.

В 1944 году он подарил мне книжку Вересаева "Пушкин в жизни" с такой надписью: "Ляля, это тебе в полную собственность".

Лебедев сразу дал мне прозвище "Ляля, Лялька". И я привыкла к этому новому имени и его называла так же – Лялей.

... Никита свалился в Ленинград нежданно, я еще не ушла из дому, и как раз в тот день Лебедев прислал мне домой громадную корзину цветов. Над Загородным разразился скандал: Никита схватил корзину и выбросил ее на площадку. Его негодование меня смешило. Он давно вел себя так, словно меня не было в его жизни. Но на этот раз он негодовал. Оделся,

унесся из дома, предварительно выдрав цветы из корзины, и побежал с ними к Юлии Трузе, была в Ленинграде такая титулованная красавица, художница.

Я позвонила Лебедеву и рассказала ему о своих злоключениях. Лебедев немедленно позвал меня к себе. Я поняла, что он зовет насовсем. Он уже говорил мне, что хочет, чтобы я стала его помощницей, другом, натурщицей, ученицей и женой. Я взяла сумку, надела пальто и покинула Загородный.

Шел 1939 год. Я была влюблена, любима. Все в Лебедеве меня поражало. Я шла на улицу Белинского и думала: какая же я счастливая. Как интересно жить на свете, как легко кружится снег. Мне не надо было тащить багажа: у меня его не было. Со мной были мои надежды, моя юность.

Лебедев сразу определил во мне художника, но я была нужна ему, как воск, из которого он решил слепить то, что хотел. А хотел он многого. Он хотел, чтобы я стала художником, миновав академию. Он хотел, чтобы его такое налаженное и такое ухоженное логово стало бы логовом для двоих. Про себя он говорил, что он волк, никому не верит и из меня тоже будет делать — волчишку. Пока только волчишку, а потом волка.

Лебедев научил меня любить Киплинга, это был его любимый поэт. Он так часто читал мне "Мэри Глостер", что я до сих пор помню эту поэму наизусть. И мысленно вижу Лебедева,

произносящего эти гордые слова:

> Я платил за твои капризы, не запрещал ничего.
> Дик, твой отец умирает, ты выслушать должен его.
> Доктора говорят: две недели.
> Врут твои доктора.
> Завтра утром меня не будет,
> И скажи, чтоб вышла сестра.

А то место, где Глостер говорит сыну:

> Ты жил за счет сэра Антони и сердце сэра разбил,

он читал так, словно перевоплощался в героя Киплинга.

> Ты не видывал смерти, Дики?
> Учись, как уходим мы!

Бедный, бедный Лебедев...

И еще он сразу и решительно стал меня учить работать. И читать книги об искусстве...

Эти тяжелые тома Вермана приводили меня в ужас. "Да, да, это сухой материал, – говорил Лебедев, – но ты продерись". Но когда Лебедев сказал, чтобы я стала копировать Сера, то все во мне задрожало. Я вот этим карандашом должна скопировать вот этот портрет? Да мне в жизни никогда не приходилось копировать! Почему Сера? Он объяснил: "Потому что он умел обобщать, – ты поняла? Ну вот, теперь работай." И я начала работать, и у меня получалось.

Это было прежде всего неожиданностью для меня самой. Ни с чем не сравнимое счастье работы, а рядом учитель. ”Нет, так не бывает, – думала я. – Тут что-то не то”.

”Ну а теперь попробуй Энгра”. – Я копирую Энгра.

”Завтра мы пойдем в Эрмитаж, там я тебе покажу Веже-Лябрен. Это одна художница, ну, словом, ты посмотришь”. И снова мы идем по городу.

”А вот это Детгиз, – объясняет мне Лебедев. – Это то, что дает мне возможность существовать, зарабатывать на жизнь. А знаешь, в Детгизе у меня есть жена. Ну знаешь, старая, бывшая, и очень надоевшая законная жена, которую я не люблю, но с которой должен жить. Она вообще-то, может, и не плохая, эта жена, только мне с ней очень тошно”. Этой женой оказался Самуил Яковлевич Маршак. ”Нет, он чудесный человек, чудесный переводчик, но я так устал, устал, он так мне надоел со своими детскими иллюстрациями”.

Как давно все это было...

... Я оглядываю комнату, где пишу все это. Господи, как много книг. Потом я гляжу на володин стол, мои этюды на стенах, на портрет работы Лебедева в 1941 году, и мне становится страшно: зачем? В этом мире есть у человека один багаж – его совесть, его судьба и его дела. Но а как же быть с этюдами, картинами, папками, рукописями?

... ”Теперь бери акварель и пиши эти цветы”. Я работала, я писала цветы. Написала много натюрмортов. Лебедев раскладывал этюды на полу, и мы вместе их смотрели. Как-то он стал резко меня разносить за один лист. Я подняла все листы, сложила и порвала. ”Дура! – завопил Лебедев. – Дура! Хочешь взять все снаскока, там же хорошие вещи были! Если хочешь знать, было такое, чего я бы не смог. Ничего ты беречь не умеешь!”... Это верно, беречь я ничего не умела. По этой же причине не уберегла главных его писем, где он так открывался, как это редко бывало с ним.

”Ну а теперь будешь меня рисовать, я тебе буду позировать”. Вот это уже было совершенно неожиданное задание. Стало страшно. Я начала. А ему портрет понравился. И с той поры он стал позировать мне так часто, что получилась большая папка его портретов. Не ставя себе такой задачи, я сделала его шаржированный портрет. Он долго смотрел на себя и написал на рисунке: ”Молодец, Лялька, хорошо нарисовала”. Удача вдохновила меня, и следуюшей жертвой был С.Я. Маршак. Конечно, не с натуры, а по памяти. Лебедев моет Маршака в ванне. Он был в восторге от этой карикатуры. Потом вдруг очень серьезно сказал: ”Теперь ты поняла, что можно сделать вот этим кончиком карандаша?” Да, я поняла. Потом поняла. За это мстят, это не прощают, это может вести за собой самые неприятные последствия. Но пока я видела, как меня хвалят Н.А. Тырса, Н.Ф. Лапшин, и я начи-

наю постигать неведомые до той поры вещи.

Лебедев сохранил все мои рисунки и никогда не возвращал их мне. После его смерти жена Лебедева А.С. Лазо вернула мне эту папку. Их много, этих листов. Вот самые первые, в мастерской, а это позднее, в Кавголове. А это война. А это эвакуация. Вот. А это – разлука. Может быть, они, эти листы, скажут о Лебедеве больше, чем мои попытки дать его литературный портрет, не знаю.

Лебедеву было 48 лет, когда мы встретили друг друга, а мне – 19. Он был красивый, сильный, все в нем было непохоже на других. Он сделал себя таким, как ему хотелось. Но только позднее я поняла, что означало в его жизни слово "волк"... Он был одинок, его пугала старость, он метался, как художник, страстно, и это его подавляло, может быть, больше всего.

Настоящее и будущее не сулили надежд. Он предложил создать для нас обоих системы – как жить и работать. Он даже нарисовал планы этих систем: соединил с главным, что было для него всего дороже – искусством, жизненные связи всяких вещей, о которых я тогда мало что понимала, но главное я поняла – это была его склонность ко мне, его чувство, в котором он нуждался также, как и я. И он мне говорил, что чувство это бывает очень редко, и он называл его "соловей". "Вот у нас с тобой – соловей", – говорил он мне.

Лебедеву казалось, что все в жизни надо скроить заново. Иногда доходило до анекдота. Был у

меня саквояж английский, из крокодиловой кожи. Лебедев долго смотрел на него и сказал: "Знаешь, давай его переделаем". Долго мы распарывали этот саквояж, потом он все окончательно испортил, вырезал два маленьких, в ладонь величиной кусочка кожи и пошел с ними к сапожнику Мокшанову, заказывать мне ботинки, обязательно на низком каблуке, обязательно мужские, с вставками из этой кожи.

Он любил вещи, охотно ходил по комиссионным и антикварным магазинам. Там он умел находить бесценные шедевры из стекла, петровские штофы, кубки, гравюры, старинную посуду. А однажды два человека втащили в дом громадный ящик. В нем оказался складной стол с дырой посередине, непонятной формы. На мой удивленный вопрос, зачем он это купил, Лебедев недоуменно пожал плечами. Он просто не мог не купить вещь, которая поразила его своей странностью. Мне пришлось по его просьбе бежать в магазин, на Невский, просить, чтобы вернули деньги и забрали это странное сооружение. Для чего оно предназначалось, осталось для нас тайной.

Как-то Лебедев привез в мастерскую длинную ширму, кажется 40 x 8. Мы выкрасили ее белой масляной краской, и я нарисовала несколько фантастических существ. Они не походили ни на кого. Лебедев прозвал их гаргасями и потребовал, чтобы я придумывала каждый день других, чтобы все створки были ими расписаны и чтобы я нигде не повторялась. Мне нравилась эта работа. Это было что-то совершенно новое.

Иногда мне казалось, что фантазия моя иссякла, но на другой день опять появлялись таргаси, и я не прекращала этого занятия, пока все створки не были исписаны. Таргасями могли быть птицы с рыбьей головой, зверь-цветок, бабочка в валенках. Они могли быть абстрактными. Слово "таргась" вошло в наш быт, если мы ссорились или спорили, Лебедев говорил: "Перестань таргаситься".

О том, что Лебедев в графике не просто мастер, а явление, даже я, недоучка, понимала. Он же не любил высоких слов. "Прошу без культа, — говорил он мне. — Я научу тебя работать, и ты будешь продолжать мое дело. А теперь я повезу тебя к богам". И мы поехали в Москву и пришли в Морозовскую галерею. Лебедев был так привязан к импрессионистам, что жертвой его культа могла стать я. У меня еще не сложились привязанности в искусстве. Мне со школьной скамьи, например, нравились вещи, которые Лебедев называл "мыло" — салонные, бездушные, мне они казались прекрасными. Когда мы пришли в Музей изящных искусств, он заставлял меня показывать то, что мне понравилось в пору школьных прогулок. Знаменитого полотна Тициана уже не было. Я стала показывать ему картины, которые мне казались верхом совершенства. "Да пойми же ты, что это стряпня безмозглых мазил, — все эти летящие нимфы, спящие эроты и прочая галиматья. Вот Рубенс, вот Каналетто, а вот старые мастера возрождения — ты понимаешь, они сумели соединить искусство с ремеслом, им это удавалось." Он смотрел не на картину

в целом, а на то, как она сделана. Поэтому он подходил вплотную к холсту и подолгу внимательно смотрел, как бы прослеживая путь кисти. Как-то, бродя по Эрмитажу, Лебедев подвел меня к двум маленьким холстам старых голландцев. "Вот, смотри внимательно". Я увидела на первом плане охотника, преследующего дичь. Бежали олени, медведи, лани, лисы, волки, а на холсте рядом охотник сидел связанный, и его судили преследуемые звери. Это запомнилось и осталось со мной.

Залы музея и тогда были почти пусты. Через 16 лет я снова буду ходить по пустым залам Эрмитажа, буду разыскивать те два маленьких голландских полотна. И тоже будет зима. И я буду одна.

Как-то недавно я попыталась проникнуть в Эрмитаж, совсем недавно. Давка, теснота, очереди. В шумной толпе все казалось чужим, неузнаваемым. Будто у меня что-то отняли.

В то мое второе посещение Эрмитажа, в зимних сумерках в Петровском зале я встретила Орбели. Я не была с ним знакома, но эту встречу не забуду никогда. Он показался мне ангелом, вооруженным мечом, защищающим Эрмитаж. Стремительно промелькнули широкий лоб, седеющая борода и глубокие чудесные глаза...

Я разделяла и спортивные увлечения Лебедева. Мы не пропускали ни одного футбольного матча. Ходили всегда в одном и том же составе: Дмитрий Шостакович, его друг, музыковед

Исаак Гликман, Лебедев и я. ”Давай, Лялька, напишем пьесу о футболе? Давай, попробуем вместе?” – предлагал Лебедев.

Нет, мы не напишем ее. Скоро будет не до пьес. Но показанные тобой два полотна старых голландцев воплотятся в пьесу. К сожалению, я не смогу придти к тебе с этой работой. Ведь тебя целых 14 лет нет в живых, хотя я живу с ощущением, что ты есть и рядом. Я привыкла себя обманывать.

Лебедев иногда бывал жесток, и несправедливо жесток. У него была собака, лайка. Звал он ее Шарик. Экономка Лебедева привязалась к собаке, Шарик – к ней, и перестал признавать Лебедева. Тот возненавидел Шарика и отдал изнеженную домашнюю собаку в упряжку на Север. ”Вот пусть он там посмотрит, они ему покажут, эти настоящие ездовые псы”.

Иногда такие поступки Владимира Васильевича пугали меня. Он не мог и не хотел быть для тех, кого любит – не главным в этом мире. Но при всем том он как бы сам боялся оказаться домашней собакой, попавшей на Север, и, заставляя себя быть твердым, думал: ”Ничего, и там есть жизнь.”

Я пытаюсь вспоминать очень важные вещи из жизни Лебедева. Лезу на антресоли и достаю пачку уцелевших писем. Писем много, но это не те письма, которые он писал мне в ”пору соловья”. Тех – не восстановить.

Беда в том, что я, при всей моей любви к Лебедеву, была очень ранима. Во время сильной

обиды я схватила коробку, где хранился сверток с этими письмами и сожгла их. Про меня Лебедев часто говорил: ''Как волка ни корми, он все равно в лес смотрит''. Не было у меня леса. Был Лебедев, на которого я смотрела с благоговением...

Но Лебедев был человеком трудным — достаточно было такого повода, чтоб карандашик на его столе лежал не так, как он его положил, — и он срывался или впадал в уныние. ''Вместе тесно, а врозь скучно. Ненавижу ничевок. Но они удобны. А с характерами — трудно''. Он был впечатлителен и слабость своей женственной натуры прятал за мужественную спортивную форму. Его жизнь как бы состояла из двух взаимоисключающих половинок. Одна из них и главная — его работа, преданность искусству, его любовь к порядку, ритм в любом деле, тренированность. В мастерской стояли гантели и гири, вес которых он все время увеличивал. Во всем этом сила. Но как бы наперерез главному жила в Лебедеве слабость — страх перед жизнью.

Мне нравилось быть собственностью Л. Все в нем было мне мило, с ним было хорошо, и я уже ощущала себя его вещью. Но вещи он свои берег необыкновенно. Однажды я разбила крышку от сахарницы, такой же точно старой фарфоровой сахарницы, как у Сезанна (''Натюрморт с корзиной''). Разразился такой скандал со слезами и бранью, что мне захотелось выброситься в окно. Мы потом склеили эту крышку, но я хорошо запомнила, как он дорожит своими вещами. И в мир вещей он уходил от страха.

Лебедев был необщителен. Ему никто не был нужен, кроме узкого круга людей – пересчитать их легко. Художник, и Лапшин, и Тырса. Дмитрий Шостакович, с которым его соединял и страх, и любовь к спорту. Сапожник Мокшанов, шьющий спортивную обувь, боксер Иван Князев, старый борец Гвидо Мейер, современник Поддубного, старик Уверский, тренер по боксу – вот, пожалуй, и все бывавшие у Лебедева. Люди, искавшие с ним близости, изредка бывали у него, но сам он никогда не искал встреч ни с кем. Не любил телефонных разговоров, застолий, редко ходил в гости.

Одних он восхищал, у других вызывал раздражение, в ком-то и ненависть. Все бунтовало в Лебедеве, когда он видел человека бездарного, берущегося за искусство. "Пускай идет копать!" – эти слова он произносил с яростью. "Ну вот смотри, про эту не скажешь, что она уж совсем никуда не годится. Языки знает. Но она, понимаешь, преодоленная, и не более того. Учителка она, понимаешь, учителка"...

Как-то его ученики (их называли лебедятами) пришли к нему, прихватив батарею бутылок. Курдов со своей женой Гердой Неменовой, Евг. Чарушин. После возлияния Герда со своими спутниками побила толстые зеркальные стекла на лестнице. "Я била каблучком", – рассказала она мне потом, с очаровательной кокетливостью. Этого Лебедев не простил. У него, мастера, было уважение к труду. К тому же стекла на площадках были частью его дома, а он любил повторять: "Мой дом – моя крепость". Все, что было

ему нужно, как художнику, он брал и владел этим. А что было ненужно – отвергал.

"Ты, Лялька – моя. И я из тебя еще сделаю волка. Переходи в мою веру"... Какая же это была вера? Вот на этот вопрос вряд ли он мог дать вразумительный ответ.

... В мастерской постоянно что-то чинилось и приводилось в порядок. Приходил столяр Кленкин, симпатичный алкоголик, скромный и застенчивый. Когда он работал у Шварца, то Е.В. очень хорошо его копировал. Кленкин пришел к нему пьяный, сел и сказал: "Женя, хочешь я тебе расскажу свою географию?" Когда Кленкин работал у Лебедева, тот совершенно серьезно объяснял Кленкину историю искусства, от палеолита до наших дней. Он объяснял Кленкину композиционные схемы французского классицизма. Я слушала рассказы и улыбалась.

Картины, да и все вещи Лебедев делил так: если вещь ему нравилась, значит, со смыслом; если не нравилась – без смысла.

Работая, Лебедев иногда нападал на холст, иногда становился в своих движениях осторожным, и казалось, что он идет по краю пропасти.

Слышу его живой голос.

"Не смей оставлять беспорядка на рабочем столе! – кричит Лебедев. – Грязь, все, что не на месте!.." Это было одно из любимых его изречений.

"Давай читать вслух "Илиаду". Ты подумай, это была их религия! Дальше, когда пришло христианство, там и началась эта гадость"...

"Читай вслух "Боги жаждут"...

Пойдем к Мокшанову, я нарисовал сапоги на низком каблуке, он тебе сделает. Пойдем на Каменноостровский"...

"Поедем в Царское село"... Однажды зимой в Детском селе он раздобыл сани с лошадью, и мы покатили. Править я не умела, и, стоя, сильно ушибла ногу о борт саней. Мне было больно, но я не сказала. Я стеснялась, всегда стеснялась, если больно. Скрывала.

"Когда я был молод, – рассказывал он, – я думал: пусть у меня будут три друга-единомышленника, три товарища в разных частях мира. Их дома станут для меня пристанищем, а мой дом – для них".

Мечтай, мечтай, художник. Вспоминай свои прошлые мечты. Они хорошие. Они со смыслом.

Только тебя запугают, тебе не позволят. Тебя не пустят никуда. И ты, так и не написавший официальных портретов, которых от тебя ждали, ты все равно должен будешь пойти на компромисс. Ну хотя бы делая иллюстрации к детским книжкам. Делая работу, нелюбимую, как надоевшая жена.

И снова я слышу: "Пиши вот этот интерьер. У тебя получается хорошо." Работаю, и вдруг за моей спиной раздается крик: "Не смей, не трогай, оставь, как есть, ты портишь!..."

Я начала ходить в студию при Доме архитекторов, там преподавал Лапшин. Лапшин тоже хвалил меня. Сказал Лебедеву, что я моменталист. Потом как-то Лебедев определил мои свойства в работе спортивным языком:

– Понимаешь, из тебя бы вышел отличный боксер, но ты боец короткого, ближнего боя. Или в нокаут – или сразу победа, и тогда хорошо. А вот биться на выносливость не можешь. Упорства в тебе нет. Это надо вырабатывать. И в защите ты слабовата. И вообще ты еще не человек.

И опять:

– Где новые гаргаси? Ты сегодня ни одной не написала на ширме.

Наступили дни, когда я осталась одна дома. Л. уехал в Москву. Мне захотелось поучиться кататься на велосипеде, и я поехала в Павловск, где, как мне сказали, была станция проката. Я получила старый ржавый драндулет. Парень помог мне сесть, толкнул и сказал, чтобы я ехала. И я действительно поехала, вот так взяла и поехала. Но вскоре увидела, что еду прямо в овраг, свернуть было уже некуда, и я упала, пропоров себе ржавым штырем колено. Хлынула кровь, и вскоре я оказалась на столе у хирурга, где мне наскоро, не обработав, зашили рану кривой иглой и оставили сидеть в прихожей. Потом вспомнили о противостолбнячной сыворотке, сделали укол. Идти я не могла. К счастью, я помнила телефон Дм. Дм. Шостаковича и

дозвонилась к нему. Он приехал со своим шофером. Они довезли меня до дома, на руках дотащили до постели. Колено начало вскоре нарывать, и в таком состоянии меня нашел Лебедев. Боль была непереносимая. На меня же посыпались упреки и брань. Суть их была в том, как я могла испортить его (то есть мое) колено. От боли я ничего не соображала. Казалось, даже малейшие сотрясения воздуха усиливают ее. Тут Лебедев согласился и решил пожалеть меня. Он подошел и нечаянно сел мне на больное колено. Наверное, я здорово взвыла. Нарыв прорвался.

Л. часто был и своей же собственной жертвой. Однажды я, предостерегая его, сказала о яме, вырытой у подъезда. Он немедленно пошел и угодил прямо в нее, а мне на этот раз влетело за мои предупреждения. Он доказывал, что не предупреди я его, он бы не попал в яму.

Сорок первый

Весной 41-го года мы решили на все лето снять в Кавголове дачу. Помню, пришлось заплатить очень дорого, и все деньги надо было внести вперед. Мы не успели прожить в этом доме и недели. Там нас настигла весть о войне. По-разному мы отреагировали на нее. Лебедев считал, что это так, ерунда, пограничный инцидент и не более... Я так не считала.

Мы уехали в город. Люди метались растерянные, подавленные. Носилось множество слухов. Говорили про какой-то десант. Началась

шпиономания. Шостакович приехал и рассказал, как кто-то из прохожих повел его в отделение, приняв за шпиона.

Я дежурила на крыше, таскала ведра с песком. В доме на улице Софьи Перовской, где жил Михаил Михалыч Зощенко, помещалось издательство "Искусство". Мы там часто дежурили с Лебедевым. С неба летали фугаски. Однажды мне удалось там погасить зажигательную бомбу.

Стали частыми пожары.

Около большой арки я видела поздними вечерами у стены женщину в мужской ушанке. Глаза ее были устремлены в небо и становились от этого еще больше. Это была Екатерина Ивановна Шварц. Ее было невозможно узнать.

Стали привозить раненых. В одном иэ госпиталей на улице Маяковского, в помещении школы, разместилась больница для тяжелораненых. Я таскала носилки с живыми и с мертвыми. Мертвые были тяжелее. Мне говорили, что это так и есть на самом деле. На помощь были брошены совсем молодые студенты, хирурги прямо с курса. Доктор Басс... Сейчас я вспомнила его фамилию. Он был главным хирургом того госпиталя. Мне показалось, что он смотрит на меня, как на лицо, приставленное следить за ним, а не как на санитарку. Все было отравлено, пропитано недоверием.

Басс подозвал меня к раненому. Это был притихший человек с серым лицом. На вопрос, как он себя чувствует, больной застенчиво ответил: "Ничего, мне лучше, доктор". Басс

шепнул мне: "Глядите, этот человек сейчас умрет". И тот так же застенчиво умер.

Город был полон слухов. Говорили, что Ленинград объявят свободным городом. Говорили о подводном десанте и без конца говорили об еде.

В это время вернулся из окружения Алексей Иванович Уверский, друг Лебедева. Он был тренером по боксу и убежденным женоненавистником. Считал, что женщины мешают строгой дисциплине в спорте, и лучше бы их вовсе не было. Боксеры его очень любили. Он только казался грозным, а на самом деле был человек добрый, хороший. Был он одинок. Когда началась война, старик Уверский пошел в народное ополчение. Там он попал в окружение, и с ним еще двое, режиссер Морщихин и поэт Владимир Лифшиц.

Они искали выход восемь дней. В одной деревне им удалось подстрелить свинью, так они спаслись от голода. Когда им удалось выйти из окружения, Уверский пришел к Лебедеву на улицу Белинского и подробно рассказывал нам об этом. Когда кончилась война, Володя Лифшиц тоже рассказал, как он попал в окружение, и про Уверского, которого тогда уже не было в живых. Он умер в блокаду от голода. Оба рассказа совпадали в точности. Уверский пришел рассказать нам об этом в октябре 1941 года, а Володя Лифшиц рассказал мне это в 1946 году, в декабре.

Началась эвакуация. Город бомбили. Горели Бадаевские склады. Черный дым навис над

городом. Запасов никто не делал, а когда спохватились, в магазинах было уже пусто. Я поехала за город. Кто-то сказал, – если порыться в земле, можно найти капустные корни. Но в поле было пусто, все обобрано. Я что-то изобретала, из корок сделала квас и налила в финские бутылки, которые мы с Ниной Шостакович так недавно привезли из Сортавалы...

Лебедев начинал терять присутствие духа. Его обуял страх перед бедствиями. Он плакал, когда немцы стали бомбить Ленинград; плакал, глядючи на каждый кирпич, на каждую царапину. "Пусть эти два гада, раз они так не нравятся друг другу, выходят сами на ринг и дерутся, а мы посмотрим. Как ты думаешь, этот голенастый, пожалуй, насует нашему, а?" Я видела, как мучительно думает он о предстоящем. Он плакал и говорил, что если придут немцы, то Ляльку, то есть, меня, отнимут. Разлучат, разрушат.

Нам выдали бутылки с горючей смесью, чтобы бросать в немцев из окон. Мне было все-таки непонятно, как я могу попасть в немца с высоты восьмого этажа.

Приемники нам приказано было сдать. У меня не было сил тащить эту тяжесть, СВД, я просто выбросила его. Из черного репродуктора шли сводки. И вдруг оттуда донесся будто знакомый голос: "Я вам прочту стихи. Мальчикам, думающим про войну. Черное небо в багровом огне, Пот на глаза натянул пелену. Что я могу рассказать о войне Мальчикам, думающим про войну?"

Потом объявили детскую передачу, и дребезжащий голос запел: "Я ответственный съемщик квартиры 27, Но об этом известно не всем. Я хожу и тружусь по квартирным делам. Тирарам, тирарам, тирарам".

Потом завыла сирена. Как это было удивительно, что кто-то читал стихи, разговаривал по радио с детьми, смеялся... "Мальчикам, думающим про войну" читал В. Лифшиц, это были его стихи.

До войны, в наших бесконечных прогулках с Лебедевым по городу, мы часто встречали высокого худого поэта. Встречи эти всегда радовали Лебедева. "Вон, видишь этого человека? – говорил он. – Это поэт, Владимир Лифшиц". И я, когда издали видела его, говорила Лебедеву: "А вон идет Владимир Лифшиц". Лебедев весело кивал и повторял за мной: "Он хороший. Он поэт хороший, и сам хороший". Я вспомнила одну встречу с Лифшицом в Кавголове, на станции. Мы вместе сели в вагон, и он так и не сказал ни слова, до самого Ленинграда. Потом он уверял меня, что это от того, что я ему понравилась. Мне же показалось, что молчит он потому, что я ему не понравилась, и помню, как меня это огорчило тогда... Теперь мы с Лебедевым встречали его на улице в шинели народного ополчения, всегда где-то в районе Детгиза. "Вон идет Владимир Лифшиц". – "Да, это он".

У меня было двойственное отношение тогда к Лебедеву. С одной стороны, сердце разрывалось от жалости к нему. С другой – было все труднее и труднее, он становился сам не свой, мог оскорбить, обидеть кого угодно. Меня

послали на окопы под Лугу. Несколько коротких писем все же дошли до него... Мы спали на голой земле, над нами выли снаряды, мы делали никому не нужную работу. Танки обходили наши рвы без всякого труда. Я видела месиво из разбомбленных людей. Последний эшелон уходил в Ленинград, к нему нельзя было даже подойти. Висели гроздьями люди. Ногти на ногах у меня были стерты до живого. Как я забралась по чьим-то плечам и затылкам, как достигла узкой багажной сетки — мне самой до сих пор непонятно. Вот тогда я открыла в себе дарование, до сих пор неведомое: оказывается, стихийный мат всегда помогает!

Чудом вернулась я домой. Две недели в лесу, почти без еды, вернули мне легкость подростка, которую я было стала утрачивать. Нас позвал к себе Шостакович, он наивно спрашивал, кто победит, предлагал нам с Лебедевым податься в Среднюю Азию... "Я тащу Максима в бомбоубежище, воют сирены"... Все было поздно. Срочно эвакуировали последних, кто хотел лететь.

Вот тут-то наши желания с Лебедевым пошли врозь. Я, словно предчувствуя беду, умоляла, просила, настаивала, чтобы Лебедев улетел один, оставив меня дома. Просьбы не помогли. Он заставил меня почти силком улететь с ним. Это было 19 ноября 1941 года. Я знала, что это будет первый день нашей разлуки. И не ошиблась.

Он пришел накануне, очень взволнованный, и протянул мне маленькую собачку из слоновой кости. "Вот, гляди, что происходит с людьми. Я

нашел ее около филармонии на тротуаре. Она валялась. Люди бросают ценные вещи". Он дал мне эту удивительную вещь. Там были иероглифы. Это был леврет с тяжелыми лапами, с чудесной выразительной головой. Кто бросил эту вещь? Она стала моим талисманом.

Какие-то вещи Лебедев оставил на сохранение художникам Курдову и Власову, они оставались в Ленинграде.

Мы покидаем дом. Нас везут в аэропорт.

Посадка в Ельне. Нас ведут ночью по скрипучему снегу в какой-то дом, чтобы накормить. Сидим, как приговоренные, не глядя друг на друга, и нам дают еду. После этого нас сажают в товарные вагоны. Многие из них разбитые и обгорелые. Кто-то стонет и плачет. В толпе мы знакомимся с балериной Кирилловой и ее мужем, балетмейстером Борисом Фенстером и с художником Григорьевым. Я не помню, кому пришла мысль сойти в Красном Холме, что мы и сделали.

Несмотря ни на что, я продолжала делать зарисовки. У меня остались рисунки той нашей жизни в Красном Холме. Лебедев любил их показывать и спрашивал: "А что, правда, видна война? Видно, что люди в изгнании?"

После Нового года все зашевелились, у каждой пары возникли свои планы. Галя Кириллова с Фенстером ехали в Пермь, куда эвакуировался Ленинградский балет, Григорьев с женой задержались в Красном Холме, а Лебедев стремился – и уже совершенно не скрывал от меня своих планов – в Киров, где жила Сара Дмитриевна

Лебедева, его первая жена, скульптор: он понимал, что Сара Дмитриевна – человек сильный, нуждался в поддержке, я же была ”Лялька” и было мне немногим больше двадцати трех лет. Опереться на мою силу было трудно.

Ночью мы прибыли на отдаленную железнодорожную ветку, где свалили наш багаж, а нас повезли в незнакомый город с дощатыми тротуарами – Киров, Вятку. Мы приехали в большой барак, где жили актеры БДТ. Там же – Шварц с Катериной Ивановной. И там-то мне пришлось предстать перед Сарой Лебедевой. Она изучающе поглядела на меня, потом повернулась к Лебедеву и сказала: ”Так вот это и есть твоя Ириша? Странно... Ты мне говорил, что она красивая, а я вижу, что она вовсе некрасивая”. Что ей ответил Лебедев, я не помню. Собственно, это уже не имело значения. Предчувствие не обмануло меня. Я осталась одна.

В Вятке я старалась по инерции что-то делать по дому, но я это делала как бы во сне. Шла по деревням, по заснеженным полям в поисках меда, меняла на мельнице крупу на свои тряпки. Мне представилась возможность поступить в БДТ помощником художника-исполнителя. В общем-то, маляром.

Лебедев собирался уезжать в Москву. Я осталась одна в незнакомом городе, где у меня никого не было. И вот я заметила, что на меня глядят с сочувствием и вниманием лица. в общем-то в ту пору мне мало знакомые. Я поняла, что они меня жалеют. Это были Шварцы. Евгения Львовича Шварца, знаменитого драматурга, я знала, как и жену его – Катерину Ивановну. Но вскоре им

тоже предстояло покинуть голодный Киров. Их ждал Акимовский театр в Алма-Ате.

В Кирове Шварц закончил ''Дракона'' и написал пьесу ''Одна ночь'', о ленинградской блокаде. Она начиналась словами: ''Эх, праздничка, праздничка хочется...'' Лебедев тогда сделал декорации к этой пьесе. Как давно это было. Нет уже ни Шварца, ни Лебедева, и праздничек тоже не наступил. В первом акте была изображена та самая арка на улице Софьи Перовской, где жили Шварцы, и Зощенко, и где будем впоследствии жить мы с Володей Лифшицем. И шла речь о городе, в который я хотела вернуться и где меня теперь никто не ждал...

Хорошо, когда талант. Но таланту не всегда дается отвага. Иногда ее пересиливает дрожь трусости. Некоторые находят какие-то иные формы выхода...

Вот у Шварца, на мой взгляд, отвага была. ''Дракон'' был написан в самые суровые годы войны.

В 1957 году зимой Шварцы были у нас, и Евгений Львович подарил нам свой однотомник, надписав его своим поразительным почерком. Почерк этот из-за дрожания руки становился совершенно неподражаемым.

''ДОРОГИМ ИРИНЕ И ВОЛОДЕ
ВОТ НЕЧТО ОДНОТОМНИКА ВРОДЯ
ХОТЬ И РОЖДЕН В БОЛОТНОЙ ГЛУШИ
НО ДАРИТСЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
КВА!
Е. ШВА!''

1957 г. 24/I

А на пьесе "Одна ночь", которая включена в тот же однотомник:

"ДОРОГОЙ ИРИШЕ
ОТДЕЛЬНО
НА ПАМЯТЬ
О 1942 ГОДЕ
В КИРОВЕ (Обл.)
С ЛЮБОВЬЮ
Е. ШВАРЦ"

К этой пьесе Шварц взял эпиграф из "Короля Лира" в переводе Пастернака:

Корделия:
... Нет, я не бедна –
Любовью я богаче, чем словами.

В письмах Самуила Яковлевича Маршака из Москвы я читала предупреждение – слова, которые не мог мне сказать сам Лебедев, но которые он, наверное, хотел сказать. Маршак писал:

Москва 20/III 1942 г.

Дорагая Ирина Николаевна, очень рад был Вашему письму, я очень люблю Вас и знаю, что Вы хороший человек. Старайтесь не скучать, если останетесь на некоторое время одна, без Володи. Вызвать Вас сюда нет никакой возможности. Я уверен, что Вы найдете или нашли уже для себя какую-нибудь работу, которая не даст Вам скучать. Пишите мне почаще, а я, хоть и очень занят, буду Вам отвечать – не очень пространно, зато во-время.

Когда собирается сюда Володя? Получил ли он, наконец, вызов? Я живу здесь один, без семьи, без Розалии Ивановны. Стал совсем беспризорным. Много работаю, устаю.

На днях получил письмо из Куйбышева от Д.Д. Шостаковича. Он с большой любовью вспоминает Вас с Володей и надеется, что все мы скоро встретимся.

Вчера позвонил ко мне Ваш отец, Ирина. Он очень обрадовался, узнав, что я получил от Вас письмо. Вот какой он бескорыстный народ – родители! Не он, а я получил от Вас письмо, а он все-таки счастлив, что от Вас есть весточка. Напишите же и ему.

Жду писем от Вас и Володи. Крепко жму Вашу руку, до свидания, мой милый Ванька Жуков!

Ваш С. Маршак

А через месяц с лишним Маршак писал все о том же, о том, как Лебедеву нужна Москва и как мне необходимо работать.

7. 05. 1942 г.

Моя дорогая Ириша!

Мы с Владимиром Васильевичем сейчас сидим за столом, работаем и вспоминаем Вас. Очень жалко, что Вас нет с нами, но вытянуть Вас сюда нелегко. Я вот уже три месяца хлопочу о вызове сюда жены и сына, но мне это не удается. Подождем еще месяц-другой. А пока не скучайте. Да я думаю, Вы из тех людей, которые скучать не должны. Время военное – ничего не поделаешь. Пишите о себе. Я тоже буду Вам писать, но Вы сами знаете, как мало сейчас у всех нас времени для писем, а у меня в особенности. Поэтому не считайтесь со мной письмами. Я очень рад приезду Владимира Васильевича. Уверен, что это хорошо не только для меня, но и для него самого. Чем больше он будет загружен работой, тем бодрее будет себя чувствовать. А загружают его работой – и книжной, и плакатной – основательно.

Даже за эти несколько дней он успел как-то подтянуться.

Через неделю-две он вернется к Вам, но не давайте ему засиживаться в Кирове. Его место здесь.

Напишите мне по-подробнее, как Вы живете, что читаете, что предполагаете делать в будущем. Я Ваш верный друг.

С разрешения Владимира Васильевича нежно целую Вас.

Ваш С. Маршак

Ко мне звонил Ваш отец, мне кажется, что он очень хороший человек. Говорил со мною очень деликатно, очевидно, скрывал свои чувства.

А я думала о работе и жгуче тосковала по Лебедеву.

В феврале 1943 г. я уехала с БДТ в Ленинград.

Возвращение в Ленинград

Долгим было это путешествие. Поезда стояли в ту пору на путях бесконечно. Актеры жили своей привычной жизнью. Шварц считал, что актеры — люди без быта, но быт в ту пору был вообще упразднен. Голод, бомбежки, вши. И всюду, где бы я ни была, незримо копошились эти твари, страшнее них для меня никого не было. Я знала, что они приносят несчастье. — Вши да крысы.

Морозной глухой ночью нас, наконец, высадили в открытом поле. Должен был придти автобус, но его все не было, и укрыться от холода было негде. Наконец, машины прибыли, и нас повезли по ночному городу. Когда мы

въехали на разбитый пустой Невский, все притихли. Только Каранович-Валуа стал произносить своим актерским голосом какой-то импровизированный монолог про Невский, каким он был когда-то, в далекую пору... до эксперимента. "Дамы в соболях... Кареты.... Блеск бриллиантов... Витрины"... Как меня раздражала эта выспренная болтовня!

Я с жадным любопытством и затаенным восторгом смотрела на улицы, на полуразрушенные дома с заклеенными окнами, на измененные силуэты и очертания. Вот Литейный проспект... Пройти совсем немного, и будет, должно быть, дом на улице Белинского... Только сейчас я поняла, что уже в тот момент я тоже отправлялась на поиски прошлого, утерянного навсегда, отнятого у меня, как и у всех остальных. Война редко щадит, она разъединяет.

Нас привезли в театр и разместили в большом фойе. А они, незримые соглядатаи, были где-то рядом, копошились, попискивали. Я чувствовала их присутствие, ощущала, как они наблюдают за нами. Вокруг разрушенных оград канала все было сковано льдом. Я не могла дождаться того момента, когда мне можно будет пойти домой. На следующий вечер мне разрешили. Становилось все страшней и страшней, с каждым шагом, чем ближе подходила я к дому.

А есть ли он, дом? Вот Фонтанный дворец, где жила Анна Андреевна Ахматова, цирк, поворот на улицу Белинского – и как чудо возникает знакомый брандмауэр с тем единственным окном, о котором Лебедев шутливо говорил, что

он в Европу прорубил окно. Да, дом стоял. По темной нежилой лестнице с разбитыми стеклами я поднимаюсь на верхнюю площадку, открываю обитую кованым железом дверь двумя мудреными ключами: один надо держать в правой, другой в левой и одновременно поворачивать их в хитром, придуманном Лебедевым замке. И вот я вхожу в пустую мастерскую, захожу в комнаты, в кухню, где больше ничего не готовят. Вещи стоят на местах. В шкафу тускло поблескивают старинные кубки и штофы, на антресолях стоят холсты. Все знакомо до мелочей, но на всем — пыль. Видно, что в этом громадном опустелом доме никто не бывает. Тишина. Я подхожу к патефону, ставлю пластинку — и вдруг слышу цыганскую песню. Не в состоянии оторваться от нее, без конца завожу и завожу ее. Низкий женский гортанный голос: "Цыгане шумною толпой, цыгане табором идут"...

Смотрю на свою комнату. Стол, полка с книгами, висит на стене и краснощековская гитара, подаренная мне Лебедевым. Подхожу, трогаю струны. Только немного расстроилась. Гитара... Как много она помогла мне в те трудные времена. Я и вынесла все, кажется, благодаря ей. В ту пору она стала моим самым закадычным другом. Только я — и она. Можно взять ее и перебирать струны, вспоминать старые цыганские песни отца или петь Блока, петь все, что хочу...

Мне было холодно. Я была всегда голодна. Но сколько интересных вещей я узнала в ту пору!

Вначале надо было жить при театральных мастерских, где я помогала писать декорации и

подновлять старые. Иногда можно было подработать. Я числилась маляром. "Ира, есть работа. Пойдите, покрасьте бойцам два гроба"... Это был уже не театральный реквизит, это были настоящие, наспех сколоченные гробы. Люди на улицах шли и вдруг падали. На город летели снаряды. В этот период воздушные бои сменились артобстрелом. Немцы выбирали квадрат и методично, через равные промежутки времени били по его точкам...

Оживление, я бы сказала даже, веселое оживление царило в столовой театра во время обеда. Актеры часто ездили на выступления в военные части, где их поили и кормили. Было даже собрание, на котором обсуждался и порицался их энтузиазм на этих застольях. Они их называли сабантуями. Их рассказы о том, кто, где и что ел, звучали как похвальба. Позднее я вспоминала, как Курдов, глядя на руководителя Союза художников – Серова, совершенно серьезно, с нескрываемым восхищением, сказал мне: "Ты не знаешь, что это за человек! Он вчера, например, я точно знаю, ел заливного поросенка у Попкова – секретаря Ленинградского обкома партии." А мне надо было делать вид, что я сыта. Хлеб можно было взять на один день вперед. Я так и делала. Тогда давали уже 400 г. Только бы не стать дистрофиком!.. Мне казалось: бомба упадет, а хлеб-то я не успею съесть! И тут же съедала. Донести до дома было невозможно. До чего же это был необыкновенно вкусный хлеб. Но хотя и притворялась я сытой, хотя и старалась изо всех сил держаться независимо, я не могла не чувствовать, что многие меня жалеют, не понимают, как

я могу жить одна, без чьей-либо поддержки. Знали, что в такую стужу я живу, в общем, на улице, сочувствовали... Но я стала привыкать к своей странной новой жизни и, входя в дом, озиралась и всякий раз радовалась, что он стоит, не разрушен, можно взять гитару и усесться с ней. Ведь тогда меньше мучали мысли о том, что я хочу есть, хочу есть, а взять негде, хлеб на завтра уже съеден. Надо уснуть, а утром пойти к открытию и получить снова на послезавтра, и так далее. Я часто пела в ту пору одну песню из "Бесприданницы": "Скоро день урочный минет, скоро плакать буду я". Я стала любить одиночество. Старое забывалось. Город открылся мне другой стороной. Я стала глядеть на него своими глазами и впервые стала самостоятельно работать.

С Лебедевым мы продолжали переписываться.

"Милая Лялька, – писал он. – Посылаю тебе доверенность, потому что к первому приехать не удастся. Вчера выслал тебе 500 рублей, срочно, по телеграфу.

Есть некоторая надежда на помещение.

Сейчас буду к Самуил Яковлевичу. На днях буду говорить по некоторым вопросам с Халенсоном, возможно, удастся и о помещении поговорить. Тогда можно будет и о тебе. Я просил Мариенгофа узнать все про постановку, пока он молчит.

Видела ли ты эскизы к декорациям?

Зовут очень руководить.

Длинно целую, Мордочка. Ляля."

Иногда он посылал мне посылки.

Москва жила тогда на широкую ногу по сравнению с Ленинградом.

В театре мне дали самостоятельную постановку. Я оформила спектакль ''Беспокойная старость''. Даже макет сама сделала. Восстановила утерянные декорации к ''Кремлевским курантам'' и стала заниматься станковой живописью. В 1944 году меня приняли в Союз художников.

Летом, в июле, когда особенно участились артобстрелы, я находилась дома, и при мне высадило все стекла в мастерской. Пришлось уйти из дома. Думая, что я вижу его в последний раз, я огляделась. Взгляд упал на полотно, где Лебедев изобразил женщину с руками Моны Лизы. И вот, я взяла это полотно и ту маленькую собачку, с которой не расставалась, и вышла на улицу. Артобстрел продолжался. Снаряд разнес столовую прокуратуры. Две минуты назад я стояла именно на этом месте, глядя на высаженные стекла мастерской.

Я остановилась под воротами и услышала тихое пение. Прямо посреди мостовой шел отряд девушек МПВО, за ними ехала грузовая машина. Слаженно и четко началась уборка, вытаскивали сохранившиеся куски. Мимо меня шел человек. Лицо его было таким же серым и сосредоточенным, как у того в госпитале, про которого доктор Басс сказал, что он должен умереть. А девушки пели, а снаряды рвались, а они как бы их и не слышали. Это меня потрясло.

Я пошла в квартиру к Софье Васильевне Шостакович – матери Дмитрия Дмитриевича – и попросила, чтобы портрет пока остался у нее.

Конечно, она согласилась. В ту пору мы часто виделись с Софьей Васильевной. Она любила Зощенко, и главной темой наших бесед был Михаил Михайлович.

Жить мне становилось все труднее. Пальтишко совсем истаскалось. Я стала донором. Это давало мне возможность один раз в месяц пообедать в донорской столовой, съев там дрожжевой пудинг, и получить паек, который исчезал через три дня. Все руки были исколоты. У меня было очень трудно найти вены.

Софья Васильевна сказала мне как-то, что на вопрос Дмитрия Дмитриевича, помогает ли мне Лебедев, она едко ответила: "Если бы он Ирине помогал, то мы бы все в золоте ходили". Так она сказала потому, что я в ту пору была щедрее и делилась со всеми тем немногим, что у меня было. С болью вспоминаю избу в деревне под Красным Холмом. Туда заходят двое замерзших солдат, я хочу дать им хлеб, а Лебедев вдруг с раздражением говорит, чтобы я не смела этого делать. Когда-то в нашем споре о сущности правды на мои слова "Но ведь это же правда", он закричал: "А правда-то – она не одна, их много, правд, поняла? Который раз тебе говорю, – переходи в мою веру!" Веры его я так и не поняла. Он уходил все дальше...

Слово "дистрофик" мне казалось обидным, уничижительным, ругательством. Дело в том, что голод иногда так уродовал психику, что люди превращались в тихих маньяков, носили всюду за собой баночки, кастрюльки, коробочки, что-то жевали, что-то сосредоточенно переливали,

перекладывали, прятали. Не случайно люди, пережившие это, не любят вспоминать и говорить на эту тему. Зато сегодня находятся другие, ничего не испытавшие и считающие своим законным правом говорить о блокаде.

От голода мне становилось все хуже и хуже. Я много пила воды с сахарином. Его продавали свободно на каждом углу. Очень сильно отекала. Если кто-нибудь меня приглашал сесть за стол, я отказывалась, говорила, что сыта.

Если бы молодость знала...

В конце осени, в ноябре 1945 года, мне дали в ЛОСХе путевку, и я поехала в Хосту, в Дом творчества художников. Погода оказалась удивительно теплая, можно было купаться и загорать. Помню, как в вагоне я увидела свое отражение в зеркале: отекшая, желтая, совсем больная. А через неделю меня не узнавали, не верили, что это я. Было так неожиданно после беспрерывных мытарств, голода и холода увидеть солнце, войти в море, трогать камни, рисовать на них.

Я взяла этюдник и направилась в горы. Карабкалась вверх так долго, что пришлось заночевать в высокогорном селе. В доме у женщины с двумя детьми. Она угостила меня мамалыгой с кислой подливкой из слив. Ранним утром я вышла на ветхую, с резными перилами веранду этого дома, так похожего на гнездо ласточек. Гора

круто спускалась вниз, как в пропасть. У меня перехватило дыхание от восторга и неожиданности того, что открылось передо мной. Вдали, как на ладони, дымилось необъятное море. Оно сливалось с небом, и, глядя на это чудо, я опять испытала и восторг, и печаль, и еще я поняла, что это никогда не повторится. К сожалению, я не ошиблась. Спустя три года, поехав снова в Хосту, в тот же Дом художника, я пошла в это село. Односельчане сказали, что эта женщина больше там не живет. Домом завладели другие люди.

Я написала там несколько этюдов и интерьер той комнаты, где ночевала, два пейзажа и кухню, где хозяйка месила мамалыгу. Я была счастлива. В Доме художника мне здорово влетело за самовольную отлучку, решили, что я попала в беду.

Мне там очень повезло, меня поселили на маленькой веранде, но отдельно. Это был веселый заезд. Большинство художников было из Москвы, много молодежи. Там я увидела Корина с женой. За моим столом оказался московский скульптор, ученик Коненкова, Толя Григорьев. Застенчивый, с тихим глухим голосом, он рассказывал чудеса о йогах, знал теософию, и стал знакомить меня с такими вещами, о которых я и понятия не имела. В нем была доброта, притягательная, умная. Спустя некоторое время приехала еще одна группа московских художников, среди которых выделялся красивый блондин, похожий на нибелунга, Володя Богаткин. Мы с Толей и Володей быстро образовали

союз, нам казалось, что этот случай свел нас и объединил на всю жизнь. Володя Богаткин прошел фронт, привез серию военных рисунков, очень сильных и уверенных, но дальше не знал, что делать. Война кончилась. Богаткин принадлежал к студии Грекова. Мы втроем обсуждали все эти проблемы. А пока — купались в море, глядели на море, пили вино, были счастливы. Ведь не одна я, все устали от войны. Она, в сущности, еще и не кончилась...

С тех пор я стала мечтать о переезде на Кавказ, чтобы жить где-нибудь в горах. Когда я рассказала об этой мечте Анне Андреевне Ахматовой, она заметила, что если бы это произошло — я должна была бы превратиться в грузинку; она знала о таких превращениях тех, кто менял свой край на чужой.

В Сочи приехал на гастроли Театр транспорта, где работал музыкантом мой отец. Он написал мне в Хосту. Я приехала повидать его. Была эта встреча тяжела для обоих. Думаю, в наших отношениях с отцом нам больше всего мешала, а не помогала, острая жалость друг к другу. Оба мы были людьми без кожи. Я видела его, беспомощного, инфантильного, доброго, робкого, не умеющего постоять за себя. А он, хотя я никогда ничего не рассказывала ему про свою жизнь, наверное, догадывался, как нелегко у меня все складывалось. Мы так и не нашли тех слов или поступков, которые объединили бы нас... Моя вина перед отцом — самая большая вина в моей жизни.

Но никуда я не переехала, осталась в Питере и в театре.

Объявили конкурс по театральной секции, на оформление спектаклей можно было выбрать "Воспитанницу" Островского или "Бориса Годунова". Я выбрала Островского: пьеса мне нравилась, судьба воспитанницы была близка и понятна. Лебедев, который наведывался из Москвы, стал бранить меня: "Что ты делаешь? Ведь там могли бы тебя поднять на щит, ты могла бы сделать патриотический спектакль". Как мне было тяжело от него слышать эти слова о щите и патриотизме... Я пришла на собрание театральной секции. Открылась дверь, вошел человек с бесшумной грацией, — о нем Лебедев говорил: "Кошка". Я спросила у кого-то, кто это. Ответили: Натан Альтман. Нас познакомили.

Натан был очарователен. Когда он входил — становилось светлее. Сейчас я задаю себе вопрос: действительно ли он был легким — или был настолько волевым и воспитанным, что научился оставлять все неприятности для себя, а другим доставлять только радость?

... В ЛОСХ меня приняли, но жить по-прежнему было трудно. Случайные работы в журналах давали мало. Я иногда выменивала часть хлеба на молоко — на Мальцевском рынке была толкучка. Там я увидела в руках у мальчика черного котенка. Он был худой, как скелетик. Я купила его и принесла домой вместе с бутылкой молока, вымененной на хлеб. Налила молока в блюдце. Котенок бросился на молоко, захлебываясь и давясь. Голод одолевал в ту пору и меня.

Но в отличие от меня, котенок не скрывал этого, не старался изображать из себя сытого. Он мне рассказал, как я хочу есть, как я боролась с собой эти годы, чтобы никто не угадал. Я смотрела на котенка и плакала, а он продолжал неистово пить молоко. Я сделала ему красные бусы, назвала Евсташкой. Теперь, возвращаясь домой, я знала, что меня там ждут.

В обществе Евсташки я встретила 1945 год. Мы были с ним вдвоем. Я раздобыла бутылку шампанского. Нам было хорошо. Кажется мне, что это был самый счастливый год в моей жизни. Наступил мир в моей душе. Я знала, что одинока, и это скорее радовало меня.

В Ленинграде предстояла выставка художников ЛОСХа, моя первая выставка. Я дала пейзаж с Инженерным замком и хостинский интерьер. Мне в первый и последний раз довелось столкнуться с ажиотажем при экспонировании работ художников. Каждый считал, что его работы висят неудачно, что это сделано намеренно — я, кстати, тоже так считала, и, видя свои работы повешенными не так, вопила и ругалась с устроителями ничуть не хуже других. Но главное волнение наступило, когда мне предстояло нести "Воспитанницу" на конкурс. Работа оказалась нелегкой. Соперники были профессионально сильны. Мне было просто сделать костюмы, а вот с декорациями я долго возилась. Наконец, сдав работу в ЛОСХ, я бросилась скорее домой...

Вскоре зазвонил телефон. Я долго не снимала трубки, но телефон продолжал звонить упорно, не переставая, будто зная, что я дома. Я сняла

трубку и услышала голос Альтмана: "Ну что? Прячешься? Не берешь трубку? – картавя, кричал Натан. – Я ведь знаю, чем ты сейчас занимаешься! Сидишь и пьешь! Прекрати немедленно. Кстати, ты выиграла конкурс, тебе присуждена первая премия. Сейчас я приеду". И приехал. И я взяла гитару и стала петь ему его любимую песню: "А когда наш дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля". Натан ударял себя по коленям, подпевал и говорил, что я неправильно пою – нужно быстрее, темпераментнее, показывал, как надо петь.

За спектакль "Беспокойная старость" я получила 600 рублей. В переводе на продукты это было 6 кирпичиков хлеба. По договору эту работу должны были взять к постановке, но этого почему-то не произошло. Мне посоветовали съездить в Москву к какому-то крупному чину, который ведал этими вопросами. Я вошла со своими этюдами в большой кабинет большого начальника, не помню его фамилии. "Ну, показывайте, что там у вас!" – почти проорал он. Потом уставился пустыми заплывшими глазами на этюды. Я вздрогнула. Почему он орал на меня? Чем я раздражила этого начальника? Я собрала свои работы и, больше не спрашивая ни о чем, вышла.

Мое пальто за войну совсем истрепалось. В Москве мне повезло – я купила темно-синий английский свитерок. Кажется, это была единственная моя самая любимая вещь. Ну и штопала же я его потом, когда он стал снашиваться! Живого места не оставалось. Зато у меня выработа-

лось вот что: я считала, что все впереди, что будет, должно быть, и хорошее. Я искренне верила в это. И мне помогала жить эта уверенность. Уж если я привыкла не бояться бомбежек, засыпать под звуки сирены на восьмом этаже, не спускаясь вниз...

Но порою становилось страшно, я впервые узнала, что людей можно опасаться. Толю Григорьева арестовали. На него донес какой-то скульптор, кажется, этому скульптору нужна была Толина мастерская... Арестовали Григорьева будто бы за интерес к теософии. Тогда достаточно было любого доноса. Несколько лет спустя мы встретились на улице. Толя смотрел на меня отчужденно, с немым упреком, как смотрят на человека, предавшего искусство.

В Москве я должна была выполнить еще одно поручение Лебедева. Узнав, что у Софьи Васильевны Шостакович нет того холста, который я отнесла к ней, Лебедев был взволнован, он не хотел расставаться со своими работами. Я пошла к Софье Васильевне, и она, разведя руками, сказала, что приезжала Нина Шостакович и увезла холст на свою новую московскую квартиру на Кутузовском проспекте.

Лебедев, узнав об этом, помрачнел и сказал: ''Ну, ты отдала – ты и добывай''. Я дозвонилась к Нине. Она очень радушно пригласила меня к себе. Объясняя, как найти, говорила: ''Когда сойдете на остановке, увидите дворец''. И вправду, я увидала дворец. Нина с детьми обедала. Портрет висел в столовой над столом. Я видела, что отдавать его Шостаковичам не хочется.

Дмитрий Дмитриевич был, как всегда, напряжен, нервен. Мы с Ниной пытались вести светскую беседу. Это было время фестивалей дружбы, карнавалов победы и прочей галиматьи. Я же, несмотря на все свои старания быть спокойной, несла на себе печать голода, холодного Ленинграда и еще чего-то, что было неприятно Дмитрию Дмитриевичу.

Я никогда не забуду, как в тяжелое время написала письмо маленькому Максиму: "Когда кончится война, я научу тебя делать из шишек оленей и человечков". И через короткое время, придя домой, ночью, обнаружила открытку, где детской рукой Максима был написан ответ: он благодарил за письмо и выражал желание, чтобы скорей кончилась война и мы занялись бы оленями и человечками. Теперь я его часто вижу по телевизору. Он во фраке, бойко машет палочкой, и неизвестно на кого больше похож, на Дмитрия Дмитриевича или на Нину. Когда он заговорил, его первыми словами было: "Папа, я маленький". Пусть он останется в моей памяти маленьким, в кофточке, связанной Ниной. Глядя на него в ту пору, Лебедев говорил, что он похож на маленького сенбернарчика...

В августе 1946 года

Август сорок шестого. Как снег на голову – постановление ЦК партии о журналах "Звезда" и "Ленинград". Я делала в журнале "Ленинград" иллюстрации к одной пьесе.

Лебедев был взбешен: грязная брань в адрес Ахматовой, которую называли шлюхой, глумление и травля Зощенко привели его в ярость. Но в этой ярости был странный оттенок: Л. как бы отгородился от тех, кого травили: "А нечего хихикать, – говорил он, – вот и дохихикались. Ненавижу это хихиканье".

Незадолго до этого знаменитого августовского постановления меня вдруг стали вызывать по разным адресам. Сначала на Чайковского, потом на Лиговку, потом на Дворцовую, и везде со мной беседовали странные люди. Чего они хотели? Ну, того, за чем обычно и вызывали – сделать своим агентом. Запугать. Я чувствовала, что решается моя судьба. Сначала я получала повестки, потом мне звонили. Я побывала в зашторенных и застланных коврами кабинетах и в грязных кутузках. В кабинетах предлагали закурить, в кутузках орали. На Дворцовой площади тоже орали, упрекали меня за аполитичность. Допрашивали по двое.

Я рассказала об этом Лебедеву, он побледнел и закричал: "Как ты смеешь мне об этом рассказывать? Немедленно замолчи! Ты ведь делаешь меня сообщником. Ведь я теперь что же?"... Я смотрела на него и не верила своим глазам.

Он считал меня бойцом короткого боя. Я билась не на равных, и бой был длинным. Противники были сильнее, но я не струсила, выстояла, не пошла к ним в услужение. Кажется, на четвертый раз меня отпустили. Они только сказали мне, что если я услышу от кого угодно о Володе

Иогельсоне, то чтобы я им сказала, что о нем слышала. Это был молодой режиссер Радловского театра. Вместе с театром он уехал, а театр попал к немцам.

Вспоминаю, как о позоре: иду по улице и вдруг встречаю жену Володи Иогельсона. И она кидается ко мне, а я просто бегу от нее, бегу, как от чумы — и вижу ее недоуменное лицо...

... Мне казалось, что я успокоилась, разведясь с Лебедевым, что он больше не может меня ранить, а вот — смог. У меня до сих пор не умещается в голове, как он мог, ненавидя эту страшную машину, которая его в конечном итоге и смяла, пытаться искать логику в ее поступках.

"Ненавижу хихиканье". Разве Ахматова и Зощенко хихикали? Они просто вели себя достойно, как и должны себя вести люди.

Постановление снова все разбередило. Оно запугало и без того сломанных людей. В тот же день я бросилась к телефону и позвонила Михаилу Михайловичу. Что я ему сказала, я уже не помню, что-то вроде того, что вот, мол, я всегда буду и есть его другом, что буду всегда и во всем помогать ему... Смешно, наверное, звучит. Я буду помогать. Кому? Михаилу Михайловичу Зощенко. Но М.М. не смеялся. Он, как всегда, говорил со мной спокойно. Он стал часто бывать на улице Белинского. Позднее я убедилась, как нужен был мой звонок Михаилу Михайловичу. Все вокруг были в таком страхе, лучшие друзья и соседи перестали с ним раскланиваться. Один из них, М. Слонимский, на его прямой вопрос ответил: "Миша, у меня дети".

Мы встречались часто с Зощенкой, а особенно частым гостем он стал у нас, когда я стала женой Володи Лифшица. (Как это произошло, расскажу потом). С Володей они дружески сошлись и пытались даже вместе работать — для заработка. К тому же М.М. переехал в наш дом на Грибоедовский, обменял свою большую квартиру с Кетлинской. Теперь только одна стена разделяла нас. М.М. не на что было жить, а Кетлинская заплатила ему за избыточную площадь.

Комната М.М. была на этот раз просторнее прежней. Все окна выходили во двор. Я там бывала часто и видела Зощенко в самые трудные для него времена. В его новой квартире стоял стеллаж с любимыми книгами. М.М. любил Вольтера. Он даже подарил мне его книгу. Над изголовьем его железной кровати висел образок. Меня резануло, когда я увидела на подоконнике стакан с суррогатным кофе, прикрытый газетой. В этом доме поселился откровенный голод. Голод и спокойное отношение к нему.

Стояло в этой комнате старинное бюро. Мих. Мих. стал рыться в его ящиках и показывать мне старые фотографии. Неожиданно среди них я узнала один мой старинный рисунок, сделанный еще на Загородном и подаренный ему. Я пыталась изобразить нагую нимфу в воде. Я оторопела от смущения — это был, конечно, наивный и плохой рисунок. ”Отдайте его мне, я разорву его”. — ”Нет, — сказал М.М., — он мне нравится”, — и поскорее спрятал. Потом он стал прислушиваться и торопливо пошел к двери. ”Это... — видимо, ему не хотелось объяснять, кто это, да я

и не любопытствовала. Шаги исчезли. – Теперь ничего", – сказал Зощенко.

... Какие женщины нравились М.М.? Я часто задавала себе этот вопрос, глядя на Зощенко и сопровождавших его дам. Мне кажется, такие, как описаны у Бунина в "Грамматике любви". Не красавицы с обложек, не кинозвезды. Кстати, пришло на память: когда Лебедеву сватали в модели Тамару Макарову, он сказал словами Ренуара – "Простите, но я не умею писать хищных зверей".

Так вот, М.М. нравились женщины, с моей тогдашней точки зрения не заслуживающие этого. Его представление о прекрасном было неподвластно общепринятым стандартам – ну, скажем, если перенестись в недавнее прошлое и представить себе Шиллера и Мэрилин Монро. Или Уланову и Берсенева... Толпа любит сочетать своих кумиров.

М.М. это было чуждо. Его не влекла любовьтщеславие. Правда, мне почему-то кажется, что он никогда ни одну из своих возлюбленных не обидел.

Про искусство говорят, что оно женственно. А ведь верно говорят. Женственным был и М.М. Да, офицер, имеющий награды, сильный, решительный – и женственный, в своей чудесной женской нежности к слабому полу, который он так не щадил в своих рассказах и повестях.

Как-то я пошла в театр на премьеру "Парусинового портфеля". В дверях я столкнулась с Зощенко. Он сказал:

– Ну что? Все хандрите? Пойдем посмотрим. Они (он имел в виде актеров), кажется, там что-то сделали...

Дальше, скорее из междометий и жестов, я поняла, что М.М. ими доволен.

И вот поднялся занавес, и неожиданно заговорили и зажили настоящей жизнью современные герои. Актерам действительно было что играть... В зале смеялись и аплодировали. И я тоже была захвачена этой чудесной комедией. Но самым удивительным был ее автор. М.М. сидел, как всегда, спокойный и бесстрастный, безучастный, настолько, что я не знала, куда мне смотреть – на него или на сцену. То, как он себя вел, как смотрел свою пьесу, тоже был театр – и это была не поза, а нечто совершенно естественное для него!

Я вспоминаю, как М.М. с Володей Лифшицем сразу после войны решили написать комедию. Помню, как мучительно искали они бесконфликтный сюжет, как старались, как я им сочувствовала. Она существует, эта комедия, "Петя и Анюта". Написана она в стихах, создана по всем канонам того времени, 1948 года. Это была неудачная попытка найти способ для заработка. Пьесу забраковал драматург Файко. Недавно она попала мне в руки. До чего же мучали, до чего унижали ее авторов. А Зощенко подвергался уничижению беспрерывно.

На встрече с английскими студентами в Смольном 4 мая 1954 года, на вопрос, согласен ли Зощенко с известным постановлением, М.М.

ответил путанно, но ясно было, что он не согласен, и вскоре над ним учинили новое судилище.

Улица Воинова, 18. Дом писателей им. Маяковского. Большой зал с лепными потолками, амурчики и розочки. В президиуме Кочетов и другие члены правления, а также вызванный на подмогу К.М. Симонов. Докладчик – профессиональный литубийца В.П. Друзин. Он клеймит Зощенко – как он посмел не согласиться с постановлением ЦК! М.М. выходит на трибуну, маленький, сухонький, прямой, изжелта-бледный. "Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть." Сошел с трибуны, направился к выходу. Все смотрели в пол. В двух концах зала раздались аплодисменты: аплодировали я и Меттер... Встал Симонов: "Тут товарищ Зощенко бьет на жалость"...

Бедный Симонов! Ему бы хотелось остаться в истории советской литературы этаким благородным рыцарем, "седым бродягой"... Ан, не вышло...

Ну и об аплодисментах не умолчать: аплодировать человеку, который звал смерть... Чудовищно. Но как иначе можно было выразить ему сочувствие, и сейчас ума не приложу.

И сейчас оторопь берет, когда вспоминаешь голос Зощенко и этот уходящий взгляд...

Щедрость и широта Зощенко, казалось, не имела границ. Я видела, как при последнем свидании в апреле 1958 года, когда он жил у нас, как

он хотел оставить, поделиться тем, что было заложено в нем и что вскоре уйдет навсегда.

И всегда я видела его таким доступным, простым, чудесным. Но ведь он был — гений.

С людьми он расставался только по крайней необходимости. Поостыл к Шостаковичу, когда тот вступал в новый брак. И еще к Пешковой. Она часто звонила к нам домой, когда у нас жил М.М., а он не хотел брать трубку. Я помню властный голос сов. барыни. Разговаривала она со мной, как разговаривают с горничными.

Хочется разобраться во многих оставшихся непонятными вещах, в людях, в их взаимоотношениях.

Так, для меня навсегда останется загадкой, почему сбросивший с себя все условности Ю.К. Олеша был почти до робости предан Катаеву — я Катаева почти не видела, не была с ним знакома, но мне он казался ужасным. А Михаил Михайлович не вдавался в моральные оценки. Его просто огорчало то обстоятельство, что Катаев отвернулся от Олеши, и он хотел, хотя и не сумел, их примирить. Катаев хамил, обижал Ю.К.

М.М. рассказал нам с Володей, как он шел с Олешей по улице и встретил Катаева. Он взял Олешу за руку и не дал ему сразу уйти. Но примирение не состоялось — Катаев резко свернул в сторону и пошел прочь.

В М.М. чудесно сочетались хрупкость, изящество, легкость — и уверенность, сила, ум, ирония.

Его сухой смех — иногда смеялись одни глаза...

В его присутствии люди чувствовали себя хорошо, свободно. Но это вовсе не означало, что он принимал всех.

Он мечтал об уединении. Иметь свой угол. Жить одному. Он не раз говорил мне об этом. Ему был необходим покой для работы. И он так никогда этого и не получил. Мечтал уйти в монастырь. Говорил об этом, как о чем-то решенном.

Походка у Зощенко была парящая, легкая. Руки схимника, темные, красивые, тоже легкие. Говорил он – как бы мысли вслух. Было видно, как он размышляет. И вот именно эта легкость в каждом шаге, в каждом слове говорила о силе таланта, который гнали, унижали, морили голодом, нищетой, отступничеством, уничтожали и не могли уничтожить.

Как-то мы с Володей, живя уже в Москве, приехали летом в Ленинград, остановились в Европейской, и в первый же день были обворованы: в номере со стола исчезли деньги и часы. Мы остались без гроша. Рассказывали об этом знакомым, все смеялись – все, кроме М.М. Это был единственный человек, сразу предложивший нам деньги. Володя сказал: "Обрати внимание, ведь только он один не нашел ничего смешного в этом происшествии, и только он сразу предложил нам помощь." Он, у кого денег в ту пору было гораздо меньше, чем у всех остальных наших знакомых.

В Чехословакии был сделан знаменитый фильм "Рука". Мне кажется, сами чехи испуга-

лись того, что получилось. Там герой прячется от руки. Рука, символ власти, не может ни соблазнить его, ни силой заставить служить себе, а когда герой гибнет, рука укладывает его в гроб и начинает украшать орденами.

И сейчас, когда я думаю о М.М., я все яснее вижу эту руку над его могилой.

Вспоминается одна притча Зощенки.

Как-то Михаил Михалыч стал рассказывать о брошенных грудных детях, отданных на попечение детдомов. "Если этих детей не ласкают, они умирают"... Он говорил об этом с изумлением, с каким-то очень личным интересом — я поняла, что ему самому, такому знаменитому, такому удивительному, нехватало ласки... Но, может быть, ему и не нужно было это? Писатель — одинокий странник, и никто ему не помощник...

Нет, конечно, ему нужны были и забота, и ласка, только незаметные, я бы сказала, тайные, ненавязчивые. Панибратства он не выносил, но как ему трудно было в быту, с вечной необходимостью заполнять какие-то анкеты, писать доверенности. Эта сторона жизни совершенно чужда была Зощенке, об этом свидетельствуют его письма к Володе:

Дорогой Володя!

Получил Ваше письмецо. Спасибо. Извините, что отвечаю с таким запозданием – эти дни имел некоторое отвращение к письменным занятиям и поэтому не подходил к столу.

Порадовался, что дела Ваши все же несколько лучше, чем в Ленинграде. Конечно, правильно, что переехали. Здесь весьма трудно с работой. И я особенно это ощущаю. В Москве же, я уверен, дела Ваши хорошо заплетутся. Но в отношении Вашей комедии – уверенности нет, так как сценическая ситуация несколько устарела – сейчас надо бы добавить сатирических мелодий. И тогда все встало бы на место.

Впрочем, комедия все же неплохая и, может быть, удача будет ее сопровождать. Посмотрим.

Лично мои дела идут не ахти как. Почти всю зиму прихварываю. Сам не знаю, что со мной. Впрочем, подозреваю, что это уже старость. Сейчас несколько лучше мне, но бодрости мало. Надо бы ехать в Москву, но как-то неохота приступать к запутанным делам.

Книгу (большую) я пока отложил. Начал ее не так, как надо бы. Начал с публицистики, а следовало бы с сатиры. Ну, тут всего не угадать было. Да и здоровье не позволяло быть на высоте.

Как-то Алехина спросили – почему он проиграл матч, а он ответил газетчикам: "Этот месяц у меня был неправильный режим питания". Так вот эти годы у меня был неправильный режим питания и вообще не совсем-то правильный режим. По этой причине не рассчитываю сейчас на крупные лит. удачи. Кое-какие рассказы, впрочем, делаю, но без большой уверенности. Рассчитываю летом передохнуть и тогда возьмусь за книгу.

Передайте мой нежный привет Ирине. Уж ей-то в Москве вероятно весьма привлекательно.

Если будет удача с комедией, то сообщите. И вообще не забывайте старых друзей.

27/III-53 Мих. Зощенко

* * *

30/III-54

Дорогой Володя!

У меня к Вам небольшое дело. И я буду рассчитывать, что Вы сделаете это маленькое одолжение.

Издательство "Молодая Гвардия" обещало мне заплатить гонорар за мой перевод (двух рассказов украинск. писателя А. Гаврилюка). Мне обещали выслать гонорар переводом 25 февраля.

Но вот больше месяца издательство не посылает мне денег. Я очень прошу Вас, Володя, позвонить по телефону в издательство и выяснить, почему такая задержка и когда они собираются послать деньги.

Надеюсь, Володенька, что Вас не затруднит этот звонок. Из Ленинграда же звонить все же сложновато и слишком значительно для столь небольшого дела – весьто гонорар около тысячи.

Звонить нужно по телефону – Д 115-00, добавочный – 60. Вызвать сотрудницу издат. Григорову.

После чего я попрошу Вас ответить мне кратким письмецом.

Извините, Володя, что я даю Вам это поручение. Я знаю, что Вы сердечно ко мне относитесь и полагаю, что Вас не затруднит это дело.

Ваш М. Зощенко

Иришеньке привет!

Ленингр., к. Грибоедова 9, кв. 124

* * *

Володя, оказывается я Вам послал письмецо не 1 окт., а 29 сент. Почему же Вы не получили? Ни на конверте, ни в письме не фигурировала моя фамилия – стало быть любопытство не имело место.

Жаль, что не получили моего послания.

Вкратце повторю: 2 недели болел – тяжким гриппом, теперь поправился. Однако еще не работаю, а потому и не подготовил для Райкина.

Но вчерне у меня (для него) набросано 2 скетча (и 1 миниатюра), которые я, полагаю, доделаю дней через 10. Условимся так: когда Вы вернетесь из Гагр, то сообщите мне и я подошлю – куда скажете.

Пока прощайте. Желаю хорошего путешествия.

Ваш Зощенко

Ирише сердечный привет. (А в том письме в финале я написал, что целую Вас и Иришу своими гриппозными губами. Стало быть, юмор не дошел.) М.

4 окт. 55

* * *

Дорогой Володя!

Посылаю на Ваше имя доверенность, написанную по всей законной форме.

Однако нотариус не хотел было удостоверять ее, так как я не знал, где именно произойдет это финансовое событие – получение гонорара за мой скетч "Доброе утро".

Пришлось мне написать в доверенности первое, что мне пришло на ум – управление. Надеюсь, что это не явится помехой для получения. А если явится, то я срочно пришлю новую доверенность. Но при этом надо будет знать название учреждения, где платят деньги.

Я очень теряюсь от таких дел, и будь я богат – отказался бы от гонорара, чтобы снова не идти в нотариальную контору, где заставляют писать в стиле 18 столетия – посмотрите доверенность, она весьма комично составлена!

2 марта 56

Ваш М. Зощенко

Ленингр. к. Грибоедова 9 кв. 119

Последняя встреча с Зощенко*

Среди немногих подарков, сделанных мне судьбой, один из самых драгоценных была дружба с Михаилом Михайловичем Зощенко. Мы познакомились в Ленинграде, задолго до войны, когда меня, совсем еще зеленого юнца, вместе с таким же юнцом Павлом Шубиным принимали в Союз писателей.

Правление ленинградской писательской организации было в те годы весьма представительным: Тынянов, Зощенко, Форш, Эйхенбаум, Каверин, Алексей Толстой, Лавренев, Маршак, — что ни имя, то литературное явление... Помню, как мы с Павлом волновались, как все было неказенно, одновременно и просто и торжественно, как нас попросили почитать стихи, и особенно доброжелательным было напутствие Михаила Михайловича.

Это было знакомство. А дружба возникла значительно позже, когда я вернулся с фронта, а Михаил Михайлович из Москвы, особенно с тех пор, как круг его знакомых по известным причинам заметно поредел.

Мы жили с ним в одном доме на Канале Грибоедова, часто встречались, много и о многом беседовали втроем. Третьей была моя жена Ирина. Она почти девочкой переехала из Москвы в Ленинград, стала впоследствии театральным художником, и познакомилась с Михаилом Михайловичем еще прежде меня.

---

* Глава эта написана Владимиром Лифшицем

Зная, что настанет время, когда каждое свидетельство современника о замечательном русском писателе приобретет большое значение, я решил рассказать о нашей последней встрече. Попутно хочу вспомнить о некоторых его высказываниях, поступках, привычках... О иных никто, кроме меня, сейчас, пожалуй, и не вспомнит, а они могут кое-что добавить к его портрету, к пониманию свойств его характера и таланта.

Вот для начала и вспомню, как из своего окна на пятом этаже мы с Ириной нередко видим Зощенко, выходящего в вечерних сумерках из ворот дома. На нем кепка, воротник пальто поднят. Он идет легкими пружинистыми шагами — иногда налево, к Каналу Грибоедова, иногда вправо, к улице Софьи Перовской. Мы знали, что он направляется либо к кому-нибудь из своих многочисленных знакомых, куда придет точно в условленное время и откуда уйдет тоже минута в минуту, в назначенный самому себе срок, либо в маленькую пивную на Невском. Да, да, в пивную, хотя пил Зощенко более чем умеренно, можно сказать — вообще не пил. Но тогда еще существовали пивные, где граждане могли достойно скоротать свободные часы в тепле и мужском уюте, а не "скидываться на троих" и пить, пугливо озираясь, в подворотнях... Зощенко, бывало, просиживал здесь целыми вечерами за одной-единственной бутылкой пива, посасывая клешню рака (да, я не фантазирую, там подавали раков), смоля свою неизменную "Звездочку" и прислушиваясь к разговорам соседей по столикам, а то и сам принимая в них участие.

Не отсюда ли перекочевали в его рассказы некоторые колоритные словечки и речения?..

И еще одно, прежде, чем рассказать о нашей последней встрече. Он всегда был крайне скромен в своих потребностях. Даже в годы блистательного успеха, славы, а, стало быть, значительного материального достатка, курил дешевую "Звездочку", был неприхотлив, если не сказать — аскетичен в еде и одежде. В комнате, где он жил, стояла узкая железная кровать под серым суконным одеялом, рядом — стул, на подоконнике — стакан остывшего чая, накрытый куском газеты. Единственной дорогой вещью был старинный секретер, за которым он работал. Очень мало тратя на себя, Зошенко, когда имел такую возможность, широко помогал людям, всегда скрытно, так что узнавали мы об этом со стороны. Но такая возможность была у него лишь в те далекие годы.

За несколько месяцев до своей смерти, в апреле 1958 года, он в последний раз приезжал в Москву. Дел у него особых не было и, как сейчас понимаю, он, предчувствуя близкий конец, приезжал с единственной целью — попрощаться с друзьями. Мы тогда жили уже в Москве. Остановился он у нас.

Нам с Ириной стоило большого труда скрыть свое горестное изумление, — так сильно он изменился за те полгода, что мы не виделись. Худощавый от природы, он стал устрашающе худым. Оливковый цвет тонкого лица еще более потемнел, как на старой иконе. Неуловимо

изменился даже голос. Начнет фразу как обычно, и вдруг голос зазвучит словно бы издалека, из каких-то астральных сфер. А затем снова переходил на обычные свои регистры...

Приезжал он с маленьким гранитолевым чемоданчиком, в каких мальчишки носят коньки. В чемоданчике — туалетные принадлежности, белье, коробка табаку, коробка папиросных гильз, машинка для их набивки (такую я видел когда-то у своего отца). Все это уложено вдумчиво и аккуратно.

Мы показали гостю его комнату, дали ключи от квартиры и попросили считать себя свободным от каких-либо условностей. Если не захочет нас видеть — может не видеть и жить, как в гостинице. А захочет — тем лучше для нас.

"Здесь мне будет хорошо", — сказал Зощенко, придвинул к тахте стул, положил на него книгу, которую тогда читал, коробку папирос, поставил пепельницу.

Прожил он в Москве около двух недель.

К завтраку выходил подтянутый, свежевыбритый, распространяя запах одеколона. По утрам бывал еше оживлен, шутил, даже смеялся. Подробно рассказывал о своих московских визитах, — они и занимали и тяготили его одновременно. Рассказывал о своих литературных замыслах. Увлекался, даже советовался. Потом как-то сникал. После завтрака одевался и уходил.

Я сказал "после завтрака". Завтраки эти, кроме радости общения с ним, доставляли нам и сильное беспокойство, а порой просто пугали.

Дело в том, что эти последние месяцы своей жизни Зощенко почти ничего не ел. Худоба его приняла зловещий характер. На какие только ухищрения мы ни шли, чтобы пробудить в нем хоть какой-то гастрономический интерес. Пил чай. Курил папиросу за папиросой.

Рассказал о задуманной им книге "Воспоминания". По его замыслу в ней должно было быть собрано сто новелл. В каждой новелле – не вымышленные события, а происходившее на самом деле. Участником или свидетелем одних был он сам, достоверность других, рассказанных ему когда-то и кем-то, тоже не вызывала у него сомнений. В книге предполагались разделы "Далекое прошлое", "Перед войной", "Война", "Новые времена". Сюжетов, говорил Зощенко, более, чем достаточно, надо только их отобрать. Иногда он никуда не уходил, беседовал с нами о наших делах, лежал в своей комнате с книгой, курил, набивал гильзы, загоняя в них вату "от никотина". Бывали ночи, когда свет в его комнате горел до утра, он читал.

Зощенко охотно знакомился с навещающими нас друзьями и приятелями. А те зачастили, узнав о нашем госте. Так познакомился с Зощенко кинорежиссер Эльдар Рязанов, совсем тогда еще не маститый, но уже поставивший "Карнавальную ночь".

Как-то мы с Эльдаром размечтались: хорошо бы совершить длительную неторопливую поездку по стране. Лучше бы всего на лошадке, в телеге, подстелив соломку... Трусить себе из деревни в деревню, из города в город.

— Любопытно, что об этом мечтают автомобилисты, — усмехнулся Зощенко.

Впрочем, не все новые знакомства приходились ему по душе. Как-то пришла жена известного художника — женщина весьма сухая, деловая, практичная и, что называется, "светская", каждую третью фразу начинающая словами: "На последнем приеме"..., и боящаяся упустить что-либо сенсационное. А Зощенко был сенсацией.

— Я счастлива с вами познакомиться, Михаил Михайлович, — сказала она грудным голосом с прочувствованными придыханиями.

Зощенко, отлично разбиравшийся в людях, намертво замолчал и вскоре вышел из комнаты.

— Что нужно от меня этой даме? — брезгливо спросил он скрипучим голосом, когда та ушла, и мы почувствовали себя виноватыми.

А теперь, — к месту ли, не к месту ли, — но вспоминаю одну забавную, еще ленинградскую историю.

Очень уважаемая, очень старая уже в те годы, нежно любившая Михаила Михайловича писательница, обладавшая густым басом, тоже наша соседка по каналу Грибоедова, как-то сказала моей жене:

— Вы знаете, Ирина, кто Михаил Михайлович? Он — девочка!

Она имела в виду некоторую женственность, капризность, мягкость его характера (отнюдь, вообще-то, не всегда уж такого мягкотелого). Мы, помню, посмеялись над этим определением.

Вскоре Зощенко сидел в ленинградском Доме писателей с несколькими друзьями. Вошла упомянтуая выше писательница, к которой Михаил Михайлович тоже относился с большой симпатией, и знал с давних времен.

— Господа, — шутливо сказал Зощенко, увидев ее издали (он любил это ироническое "дамы" и "господа") — вы знаете, кто она? Она — самец!..

Но вернусь к нашей последней встрече.

К телевизору Михаил Михайлович подходил редко. Но однажды мы услышали его взволнованный возглас:

— Иришенька, Шопен!

Не знаю, каковы были у Зощенко отношения с музыкой, но Шопена он любил страстно.

Естественно, вне всякой связи с Шопеном, вспоминаю, что у нас он впервые прочел стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зощенко любил чуть подтрунивать. Когда-то не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку на первый взгляд невинное "говорит": "Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?.." Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения "Военные свадьбы":

Походочкой расслабленной,
С челочкой на лбу,
Вхожу — плясун прославленный —
В гудящую избу...

— Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?..

"Мальчик" действительно, пошел далеко. Может быть, даже дальше, чем предполагал Зощенко.

Как-то, вернувшись после очередного визита, он прошел на кухню, сел за стол и сказал, потирая худые смуглые руки: "А хорошо, все-таки, дома..." Как это "дома" нас тогда обрадовало!..

Я в то время писал пьесу для детей. Он долго и пристрастно меня о ней расспрашивал. Мне не все было ясно. Он сказал: "Прежде, чем сесть за пьесу, вы должны уметь рассказать ее от начала до конца, как увлекательный рассказ, известный вам во всех деталях, в мельчайших подробностях".

В комнате, где поселился Зощенко, на стене висел польский плакат к французскому фильму "Дети райка". Он больше других, привезенный мной незадолго до того из Польши, понравился Ирине. На голубом фоне изображен прелестный, грустно-задумчивый Пьеро, традиционно бледный, в традиционной белой блузе, с алой розой на тоненьком стебле в руке. Плакат привлек внимание Михаила Михайловича, он подолгу его разглядывал. Было в казалось бы традиционном Пьеро что-то тревожное.

— Что вам нравится в этом плакате?, — спросил Зощенко Ирину.

— Все. Особенно этот робкий жест, словно бы защищающий розу.

— Это не главное. Обратите внимание на руки Пьеро: они же в твердых, негнущихся перчатках рентгенолога. В этом его современность.

Это было действительно так! Эти перчатки мы видели и прежде, но как бы и не видели, пока он не обратил на них наше внимание.

Меня, начинающего драматурга, он учил понимать природу театра. Ирину, театрального художника, учил смотреть и видеть. И чувствовалось, что он торопится это сделать, словно бы зная, что времени остается мало.

Я заговорил о пьесах и хочу рассказать о большой нашей потере.

Зощенко подарил нам сброшюрованный машинописный экземпляр вполне законченной пьесы "Двойник", имевшей подзаголовок (видимо, в порядке иронической переклички с Теодором Драйзером), "Американская комедия". Сюжет этой великолепной комедии заключался в том, что миллионер-американец, спасаясь от преследующих его вымогателей-гангстеров, нанимает за хорошие деньги двойника, чтобы тот принимал на себя все неприятности и удары, предназначавшиеся миллионеру. Но получается так, что двойник живет припеваючи, как настоящий миллионер, а миллионер оказывается в роли собственного двойника, со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Пьесу мы легкомысленно поставили на книжную полку, а к книжным полкам еще более легкомысленно подпускали всех желающих. И пьеса исчезла... Известно, что в архивах Зощенко сохранилось от нее лишь несколько черновых

набросков. Хочется верить, что "Двойник" не навсегда утерян, хотя бы для будущих поколений.

Вспомнил о сюжете "Двойника" и подумал, что, может быть, здесь будет уместно сказать о профессионализме Зощенко, об его уважении к законам ремесла — в самом высоком значении этого слова. О том, как целиком полагаясь на знание этих законов, он, читая свои рассказы на аудитории, никогда не прибегал к интонационным или мимическим ухищрениям. Читал ровным, даже монотонным голосом, делая паузы в тех случаях, когда хохот аудитории покрывал его голос. Это бывало достаточно часто. Он пережидал и читал дальше. На премьере его "Парусинового портфеля", когда публика (в том числе, английский писатель Джон Пристли, не понимавший по-русски, но отлично улавливавший комизм ситуаций) покатывалась со смеху, Зощенко сидел безучастный, даже грустноватый...

Умение дать сюжету совершенно необычный поворот таилось, видимо, в самой сущности его таланта. Как-то в дружеской компании известный переводчик Дос-Пасоса и Киплинга, человек весьма примечательный — Валентин Стенич вдохновенно импровизировал:

— Хорошо, знаете ли, войти с мороза домой, сбросить шубу, открыть резную дверь буфета, достать хрустальный графин, налить в большую рюмку водки, настоенной на лимонный корочках, положить на тарелку семги...

— И подойти на цыпочках к другой двери, провозгласить: "Барин, кушать подано!" — бесстрастно закончил за Стенича Зощенко под общий хохот, придав его импровизации неожиданный финал...

Мне рассказывали об одном из выступлений Михаила Михайловича во время войны. Он был уже эвакуирован из осажденного Ленинграда в Алма-Ату и как-то читал в госпитале свои рассказы раненым бойцам. Слушатели, заполнившие госпитальный коридор, благодарно хохотали. Внезапно начальник госпиталя прервал Зощенко, извинился и, обращаясь к раненым, приказал: "Челюстникам выйти!" Из рядов неохотно поднялись несколько фигур с забинтованными лицами и разошлись по палатам. "У них ранения в челюсти, им вредно так смеяться, — объяснил начальник госпиталя Михаилу Михайловичу, — продолжайте, пожалуйста..."

Опять возвращаюсь к задуманной Зощенко книге. Сюжеты нескольких новелл из этой будущей книги я записал вскоре после его отъезда, чувствуя в глубине души, что книге не суждено быть написанной. Вот два из них:

Карты

"1919 год. В Киеве Петлюра. Идут еврейские погромы. Впрочем, громят только бедноту. Богатые евреи — банкиры, коммерсанты, промышленники — откупаются. Их не трогают.

Особняк известного банкира даже охраняют по ночам два петлюровских сотника. Они

легкораненые. Когда начинает смеркаться, сотники покидают госпиталь, до утра сидят в вестибюле банкирского особняка и всем непрошенным гостям дают от ворот поворот. Утром же, когда опасность больше не грозит (громилы наведываются только по ночам), сотники возвращаются в свой госпиталь.

Понятно, что охранять еврея петлюровцам морально тяжело. Этот моральный ущерб возмещается тем, что каждое утро хозяин, — так между ними условлено, — самолично выходит к ним из своих аппартаментов и выносит на подносе две стопочки николаевских десяток. Сотники берут, говорят "мерси" и исчезают до вечера.

Однако от бесконечных сидений в вестибюле они начинают постепенно сатанеть. Режутся в карты, но это занятие вскоре надоедает. Тем более, что им нет резона обыгрывать друг друга. Тогда они привлекают к игре хозяина. Отказываться не приходится. И вот ночи напролет они играют уже втроем, и настроение у сотников заметно улучшается: то ли банкир играет хуже, то ли его партнеры не очень разборчивы в приемах, а он не так глуп, чтобы это замечать, но только деньги банкира начинают перекочевывать к сотникам. Их это устраивает. Его нет.

Как-то на Крещатике, отекший и пожелтевший от бессонных ночей и грустных мыслей банкир встречает известного киевского шулера — и его осеняет идея. Он приводит шулера домой, представляет сотникам как своего друга, и по ночам игра идет уже в четвером. Идет она с

переменным успехом, но к утру, естественно, все деньги оказываются у шулера. Обескураженные сотники возвращаются в госпиталь, а шулер возвращает деньги хозяину, за вычетом обусловленного гонорара.

Так и идет, ночь за ночью. Азарт. Дым коромыслом. Картежники ничего не видят, кроме своих карт. До тех пор, пока однажды, уже на рассвете, не раздается чей-то бодрый голос:

— А это что еще за гоп-компания?!

Поднимают глаза от карт — и видят матроса в бушлате, бескозырке, с винтовкой в руках.

Они не заметили за картами, как в Киев вошли красные. И матрос конвоирует в комендатуру всех четырех: банкира, сотников и шулера."

Смех

"1943 год. Ленинградская область. Партизанский край. Кругом — немцы, а здесь — советская власть, советские порядки. После нескольких неудачных карательных экспедиций немцы боятся сюда показываться. Партизанское соединение контролирует большую территорию, с десятками сел и деревень. И жители, и партизаны привыкли к тому, что немцев в этих местах не встретишь.

И вот как-то осенью из одной деревушки в другую идут партизанки-пулеметчицы, волоча за собою станковый пулемет. Девушки в ватниках, платках, сапогах. На ремнях висят автоматы. Идут они по обочине шоссе, по обе стороны

дороги — густой лес, тихонько звенят на ветру телеграфные провода, и если бы не автомат и пулемет, совсем была бы мирная картина.

В одном месте, уже неподалеку от опушки леса, шоссе делает крутой поворот. Девушки поворачивают — и нос к носу сталкиваются с немецкой разведкой. Это настолько неожиданно и для тех и для других, что некоторое время все стоят в полном оцепенении. Затем и у немецких солдат, и у наших партизанок одновременно срабатывает военный рефлекс — и оба маленьких отряда прыгают в кюветы, — девушки в один, немцы в другой.

И тут вот что происходит: какой-то молодой, белобрысый, очкастый немец прыгает в суматохе не в тот кювет. Не к своим, а к партизанкам. Сунулся туда, сунулся сюда, заверещал, с удивительной быстротой выкарабкался из кювета и на четвереньках, по-обезьяньи, побежал через дорогу к своим. Перед девушками замелькал его оттопыренный, обтянутый зад, а перед немцами — перепуганная физиономия с вытаращенными глазами. И тут случилось неожиданное: поднялся хохот... В одном кювете хохотали партизанки, в другом немецкие солдаты. Хохотали, пока немец бежал на четвереньках через дорогу, хохотали, когда он свалился в кювет, к своим, хохотали, забыв, что надо хвататься за автоматы и стрелять друг в друга... А потом, продолжая хохотать, расползлись в разные стороны, в осенний лес, с двух сторон подползавший к дороге."

... Уезжал от нас Зощенко вечером. Я хотел проводить его на Ленинградский вокзал, но он решительно отказался. Надел свое старое черное пальто с вытертым воротником, взял чемоданчик, поблагодарил за гостеприимство. Уже в дверях остановился и сказал: "Знаете, Володя, я иногда думаю: я ведь ничем не могу быть вам с Ириной полезен, почему же вы ко мне так относитесь? И вдруг понял: вы меня просто любите. Перехитрили вы меня. Перехитрили..."

Засмеялся своим коротким сухим смешком и стал спускаться по лестнице. Больше мы его никогда не видели.

В 1976 году мы получили письмо от сестры Михаила Михайловича.

"Добрый день, дорогая Ириночка Николаевна! Я часто вспоминаю Вас и тот вечер, когда была у Вас. Было так душевно, уютно и тепло. И конечно, был с нами и Миша, который бывал у Вас, и было ему у Вас хорошо.

Эту карточку, которую Вы мне подарили и надписали Мишино выражение на ней, которое я ценю и люблю, – особенно дорого мне. Это выражение далеко не на всех карточках, он как-то на всех выглядит поразному. Ну, а то, что Вы показали мне в шеститомнике – это вообще мечта. Моя мечта – иметь ее. И очень надеюсь и прошу не забыть меня.

У меня многое погибло в блокаду, когда разбомбили квартиру. И другая возможность вряд ли будет. Вся надежда на Вас.

Где Вы это время были? За рубежом? Удалось ли Вам хорошо отдохнуть?

А я несколько дней назад как закрыла свою папочку "Воспоминаний о Мише". Даже не могу поверить, что это сделано. Важно, что это есть!

Ах, как я жалею, что я не в Москве! Так хотелось бы повидаться и поговорить.

Как Владимир Александрович? Над чем трудится?

Будьте оба здоровы, чтобы было чаще отличное настроение.

Обнимаю вас и целую. Ваша Вера Мих.

22 сент. 76"

О судьбе воспоминаний В.М. ничего неизвестно. Хотелось бы надеяться, что они не потеряны...

Обо мне и Володе – о нас

Я обещала рассказать о том, как вышла замуж за Володю Лифшица, и как это стало смыслом и счастьем моей жизни.

Меня пригласил на день рождения ленинградский писатель Аркадий Минчковский. Он жил на улице Жуковского. Он отвоевал, хотел вступить в ЛОСХ, но передумал и стал литератором.

Я обещала придти, приготовила для его дочки детские книжки Маршака с иллюстрациями Лебедева. Но когда надо было уже идти, мне вдруг расхотелось. Я оглядела свой поношенный ватник. Дома была интересная книга. Был Евсташка. Однако лишь только я позвонила и извинилась, что не могу придти, ссылаясь на нездоровье, Аркадий поднял такой крик, что никакие мои отговорки не помогли.

В маленькой квартирке было очень шумно. Царили оживление и суета, которые предшествуют коллективным попойкам. Я кляла себя за то, что поддалась уговорам, как вдруг среди этой толпы гостей увидела знакомое-знакомое

милое лицо. Владимир Лифшиц. Он был, как и я, один, но я так обрадовалась ему, что сразу решила заговорить. Мы, не сговариваясь, сели рядом. Потом, все, что было, шло как бы фоном, мимо нас. Чьи-то тосты, чьи-то речи. Мы выпили по рюмке, встали из-за стола и вышли вдвоем на заснеженную улицу. Мела метель. Володя проводил меня до дверей моего дома. Я не помню, о чем мы говорили. Я только помню, что каждый из нас понял, что мы ушли вместе не по случайной прихоти, что нам предстоит встретиться, что произошло то, что вершит судьба. Помню только, что читала Блока: "Как часто плачем вы и я над жалкой жизнию своею"...

Этой ночью поднялся такой шквальный ветер, что ломало лед на Неве, срывало провода. В ветхой мансарде сотрясало стены. Все стонало, и я не могла уснуть всю ночь. А Володя спал и рассказал мне потом, что проснулся утром с чувством, что вчера произошло что-то очень хорошее, и стал припоминать, и вспомнил о нашей встрече. Он пришел ко мне очень скоро, читал главы из своей новой книги "Семь дней". Я радовалась его приходу, и мы наперебой, как бы наверстывая упущенное, говорили, сидя за столом. О чем только мы ни говорили, всего уже не помню. Помню, как Володя вдруг неожиданно сказал: "Будьте моей женой". Я ответила с горячностью: "Нет, не надо женой, ради Бога, только не женой". Последовала пауза. После чего Володя снял очки, толстые очки-линзы и стал протирать их. А я увидела его глаза — глаза ребенка, невооруженные стеклами. "Вот мне и

отказали...” – задумчиво сказал Володя. Что-то дрогнуло во мне, и я почти крикнула, чтобы как можно скорей все исправить: ”Да, да, конечно же я буду вашей женой!” Володя снова надел очки. У него была грозная врожденная близорукость. Его глаза без стекол были похожи на глаза новорожденного.

Мы с Володей рассказали друг другу о своей жизни, особенно много я говорила о Лебедеве. И вдруг! Однажды поздно ночью раздался телефонный звонок. В голосе было отчаяние. Это звонил Лебедев. Он просил, чтобы я немедленно пришла к нему. Я пошла. ”Вот, смотри!” – он взял меня за руку и повел к своей постели. На ней лежали насквозь мокрые носовые платки. Лебедев плакал. Плакал он честно. Лицо было в слезах и платки тоже. А так как он во всем любил систему, порядок, то и эти платки аккуратно разложил и показывал мне. Еще за несколько месяцев до этого он послал мне из Москвы отчаянное письмо. Он тянулся к прошлому, а меня уже не было в прошлом. Мне было его жаль, но я понимала, что опору себе он найдет. А я быть ему опорой уже не могла. Вот с Володей мы были едины и потому могли быть опорой друг другу.

... Мы остались с Лебедевым друзьями. Будем переписываться до конца, даже когда ему будет совсем не под силу. Я увижу его тяжело больным и беспомощным. Для меня будет и останется непереносимой мысль о его страданиях. Я не захочу и не стану верить, что его нет, даже когда на Богословском кладбище разыщу его могилу. Увижу небольшую мраморную плиту с черным

шифром даты и дорогим именем. Но это произойдет потом, когда я опять стану москвичкой. А пока – сорок седьмой год.

На новую квартиру к нам стали приходить друзья. Собирались к восьми и расходились к семи утра. Бывали у нас тогда Герман с женой, Ольга Берггольц, ее муж Юра Макагоненко, Катерина Ивановна Шварц и ее муж Евгений Львович. Бывали Козинцев с женой. Да, забыла, бывали Салик Меттер со своей женой, балериной Ксаной. Мы пили, клялись друг другу во взаимной преданности и верности, и жизнь казалась, по крайней мере, нам с Володей, лучезарной и прекрасной.

... И все-таки на дворе сороковые – конец сороковых...

Мы жили компанией, продолжали весело встречаться, словно пытаясь уйти от окружающего в вечеринки, попойки – как в бомбоубежище. "Все равно все помрем!" – кричал Юрий Павлович, и мы пили за то, что все равно все помрем. Шварцы стали приходить реже. Что-то менялось в нашем микроклимате. Как я теперь понимаю, Шварцы испытывали в ту пору предчувствие близкой разлуки. Страх одиночества – от этого не мог никто спасти. Ни Акимов со своим театром, ни старые друзья. Евгению Львовичу становилось все хуже и хуже. Он лежал в своей сверкающей квартире, листал старые журналы, перечитывал любимые книги, шутил, как

будто ничего не происходит, а Катя мне говорила по телефону все чаще и чаще, что у него почти не прослушивается пульс и что вчера она уже думала, что все кончено. И так шло довольно долго.

О смерти Шварца мы узнали, когда переехали в Москву, жили в громадной коммунальной квартире на Самотечной площади, где успели побывать до болезни Евгений Львович с Катериной Ивановной...

Шварц в то время писал крупным детским почерком, строчки спускались все ниже и ниже. Было похоже на рисунок, и мне казалось, что это придуманная им манера. Сам он сказал, что такое письмо — свидетельство душевной усталости...

Он обладал необыкновенно противоречивыми свойствами, Шварц: добрый, остроумный, обворожительный, милый, желающий весь мир обогреть... Или: злой, беспощадно язвительный, высокомерный, холодный, умеющий, как никто, найти и уязвить, не по-доброму высмеять.

Шварц был связан тесной дружбой с Маршаком. Говорил, приезжая из Москвы, что свидание с ним вселяло в него бодрость и веру, говорил искренне. Как же мне было страшно, придя к Шварцу после похорон любимого сына Маршака, умершего от туберкулеза, услышать о похоронах. — Шварц показывал в лицах, рассказывал: когда гроб опускали в могилу, Маршак оглядывал провожающих и с присущим ему придыханием деловито осведомлялся: Сурков

здесь? Твардовский здесь? Шостакович где? Здесь? И еще разные именитые Н.Н. здесь?... Да, они были здесь. А милый застенчивый Яков, только лишь начав жизнь, был уже там. И сомнения в том, что Маршак любил Якова, не было. Просто таково было свойство его натуры.

Шварц мог быть злым, а настоящую доброту прятал очень глубоко. Мне довелось изведать и то, и другое — но с добротой его я встречалась намного чаще. Как-то, когда он намеренно сказал мне злую вещь, я спросила, прямо глядя в его чудесные, прозрачно-серые глаза: "Подумайте, Евгений Львович, что испытала бы ваша любимая дочь Наташа, если бы кто-нибудь обратился к ней с таким вопросом?" Шварца смутить было трудно, но тут он растерялся и стушевался.

Шварц Лебедева не любил. Его раздражало, когда Л., говоря о своих привычках, произносил: "У меня такое свойство... Я не люблю того-то... Я делаю то-то..."

— У него такое свойство! Значит, понимайте так, что он не такой, как все, — язвил Шварц.

Когда Лебедев прочел "Печатный двор" — рассказ Евгения Шварца — его больше всего возмутило, как Шварц описал любовь Лебедева к обуви, к вещам.

Тут я должна стать на защиту Лебедева — ведь он был художник, для него и вещи были — искусством, были связаны с его работой.

Во взаимной неприязни Шварца и Лебедева нападающей стороной был обычно Шварц. Почему? Ведь они находились по одну сторону

баррикады и явно не мешали друг другу? Впрочем, уж больно были они непохожи. Шварц, необыкновенно общительный, вечно обрушивал на всех шквал остроумия — и этим раздражал Лебедева, который не любил, а если точнее сказать — боялся — острословов; ему казалось, что острословие несет беду, и не зря, в общем, казалось. Для Лебедева единственной радостью была работа, и он боялся ее лишиться. Вот и боялся он всякой свободы, а шутка, юмор — это уже свобода.

А труд для Лебедева был священен. В одном из писем, посланном мне незадолго до его смерти, говорится об этом:

"29 января 1966 г.

Дорогая Ириночка!

Твое письмо искреннее и этим оно хорошее!

Труд, даже не совсем интересный (но в который можно всосаться) всегда успокаивал всех и регулировал день (он уже сам как будто действовал помимо нашей воли).

Скажу тебе еще одно — труд, который является продуктом нашей воли — нас укрепляет морально и физически.

Мне, Ирин, не хочется Тебе писать моралей, я устал... старик... А С.Л. меня понимает, и, хотя ей бывает трудно заниматься хозяйственными и подчас пустяковыми делами, она их тащит на себе достойно (Маруси у нас нет).

Что касается книг, то бывают Достопочтенные и пустяковые и Достопочтенные и мудрые.

Ириночка, посылаю тебе привет, также и Володе. Бутылочка для вас припасена "отечественная", но высокого класса.

Целую. Твой Володя. Целую Володю твоего. Береги его.

* * *

Сейчас, когда их нет в живых, мне хочется крикнуть им всем, как живым:

— Зачем вы так ссорились, не надо, не так надо было жить... Всем нам надо быть терпимее, принимать друг друга такими, какие мы есть. Ведь вам так много было отпущено, и страдали вы от одной и той же беды... И как ужасно, что вас нет, ведь вы неповторимы, неповторимы... Таких, как вы больше не будет никогда.

Евгений Шварц, к общей нашей беде, умер, когда казалось, что впереди у него — тьма времени, и он успеет написать и свои мемуары, и пьесы, а жизнь его оборвалась. Александр Гитович посвятил ему стихотворение, в котором выразил наше общее отношение к Шварцу.

Детство

Ночь бродила в черной полумаске
С азиатской саблей наголо –
И тогда нас утешали сказки,
Где Добром одолевают Зло.

Взрослый день восходит в ясном свете,
И пока не наступила ночь,
Склонны мы забыть про сказки эти,
Что еще сумеют нам помочь.

1964 г.

Комарово

”Мы становимся богачами”

Мы были счастливы, и как все счастливые люди, совершали ошибки. Моей ошибкой было, что я бросила работать, вышла из ЛОСХа.

Но вдруг жизнь поднесла нам подарок, еще более запутавший мои отношения с работой.

Как-то, когда мы только поженились, Володя вспомнил, как встречал в Ленинграде первый послевоенный Новый Год. Были Шефнеры, Гитовичи... А.Н. Толстой ходил с шарманкой, и попугай раздавал свернутые билетики. Володя развернул свой и прочел: ”Ваше счастливое число – 10000”.

Когда мы встретили друг друга, мы были бедны. Разведясь с Лебедевым, я не взяла ничего, даже за развод сама платила. И Володя, смеясь, часто приговаривал: ”Где же те десять тысяч?”

И вот однажды утром, проверяя по газете облигации, мы с Володей обнаружили, что выиграли 10000!

Выигрыш – это праздник, и он должен быть праздником. Просто жить на эти деньги нам казалось бездарным. И я помчалась в Таллин, чтобы купить машину.

Это была ”Победа”-кабриолет. Стоила она 14 тысяч. Верх у нее был брезентовый. На крытую машину у нас не хватило одной тысячи. Я наспех окончила курсы вождения, ездила очень плохо, но машину пригнала, зимой, в лютый мороз, из Таллина. Тогда это было в диковинку, и многие расценили наш поступок, как чудачество, чуть ли не буржуазность.

Скоро окончил курс водителей Володя, и мы ринулись в нескончаемые странствия по послевоенным, тогда еще пустым, дорогам. "А там своя, другая даль..."

Мы пересекали страну вдоль и поперек. Дорога из Петербурга в Москву еще была покрыта петровскими торцами, деревянными. До чего мы оба были неопытны, неосторожны — это я только сейчас понимаю. Куда только не заносила нас судьба, где мы только не были! Дорога нас завораживала, влюбляла, обманывала, казалось, что за поворотом будет еще лучше, еще интереснее. Мы не могли насытиться дорогой.

Было много приключений в наших путешествиях, но сейчас я с болью вспоминаю, что слишком много мы этому отдавали времени. Так же, как и застольям. Ведь уходило главное — работа.

Но когда перед нами возникал новый город, я вспоминала из Библии: "И увидели они город, и вошли в него"...

Машина стала нашим домом, мы и ночевали в машине, когда нельзя было найти жилья или ночь застигала нас где-нибудь в глухом лесу.

Впрочем, от машины были не только радости. Дело в том, что Володя, как большинство мужчин, так увлекся вождением, что совсем не давал мне баранку. Я спорила, пытаясь отстоять свои права, но не помогали ни доводы, ни слезы. Постепенно я разучилась хорошо водить машину, и садилась за руль уже без желания.

"И увидели они город, и вошли в него"

После одного такого путешествия по Восточному Крыму мы возвращались домой, но стрелка указала дорогу на Евпаторию. Не раздумывая, мы свернули туда, а к вечеру оказались в маленьком грязевом курорте. Я пошла отыскивать комнату, где бы переночевать. Комнаты все были заняты, только в одном доме приветливая хозяйка предложила мне поставить машину в ее саду, говорила, что через три дня ее жильцы уедут, и мы сможем поселиться, а пока разрешила ночевать в машине, на ее участке.

Утром я достала из багажника свой Лефрановский этюдник, подарок Лебедева, и принялась за работу. Хозяйка, увидев, что я пишу ее дом, стала рассказывать его историю:

"Дом этот новый, что вы рисуете. Наш прежний дом разбомбили немцы, так, что следа не осталось. Прямым попаданием снаряда все снесло, только вот, занятно, одна вот эта пачка, что у меня на чердаке лежала, уцелела. Вот, посмотрите..."

И дала мне в руки туго перевязанный сверток с акварелями Волошина.

Я с интересом смотрела на эти маленькие листы; на многих были строчки из стихов о Киммерийских холмах, о солнце, о Библейской долине. Лебедев научил меня относиться к "мирискусникам" так, как сам к ним относился — отрицательно. Неожиданный подарок (я купила эту пачку) тогда скорее удивил нас, чем обрадовал.

С М.С. Волошиной мы были немного знакомы, мы жили однажды в Коктебеле, и, приехав домой, решили отослать ей половину этюдов. Их было 300. А остальные щедро дарили друзьям и знакомым, среди них были – Зощенко, Шварц, Гитович – всех уже не припомню. Но вскоре пришло письмо от М.С.:

"Дорогие Ирина и Володя! Никогда и никто в целом мире не мог бы мне сделать подарка лучше, драгоценнее и т.д. ... Но не много ли вы себе оставили?"

Мы отослали ей половину того, что у нас осталось. Она прислала письмо с требованием дать точный перечень тех лиц, которым мы дарили этюды, с адресами. Хотя я понимала, как дорого и ценно было ее желание знать наперечет все работы Волошина, от этой истории остался неприятный осадок. У меня есть еще несколько этюдов М. Волошина, но я не люблю на них смотреть. Акварелист он, конечно, сильный, и стихи его некоторые я люблю, но мне всегда кажется, что главное его дарование было заключено в его характере. Можно ведь и из себя творить искусство. Мне кажется, он один из немногих, кто этого достиг. Это было в нем главным, а не его стихи, не его живопись.

Сейчас я гляжу на заасфальтированный, забетонированный Коктебель, превращенный в индустриальный оздоровительный лагерь; он так страшен на мой взгляд, что я очень жалею, что знала его иным.

Профиль Волошина на горе, о котором он писал: "И на скале, замкнувшей зыбь залива,

судьбой и ветрами изваян профиль мой", — так, что ли? — вот, пожалуй, все, что осталось от того Коктебеля, где Макс прятал белых и красных и, наверное, посмеивался про себя.

Умный, холодный и расчетливый Эренбург посвятил ему довольно много страниц в своей книге. Он говорил, что когда Макс смотрел на собеседника, взгляд его как бы проходил мимо, мимо... И еще, в другом месте: "Я смотрел на Макса, глаза его были, как окна с закрытыми ставнями"...

Мы оставляем Ленинград

Я уже рассказывала, что мы переехали в Москву. Но как это произошло?

Шла кампания по разоблачению космополитов. Где-то в Союзе Писателей этот ярлык уже приклеили на Володю. Мы представляли, что добром это не кончится, и я уговорила Володю переехать в Москву. Это было трудно, почти невозможно, но в Москве легче спрятаться, больше народу. Я ухватилась за первый же предложенный вариант, и мы обменяли нашу просторную квартиру на комнату в Москве, в большой коммунальной квартире.

Не без тоски оставляли мы Питер с его белыми ночами. Володя вспоминал, как однажды он шел со своим другом Ю. Сирвинтом и студентами, прошатавшись по городу всю белую ночь, и как на Невском, возле Аничкова моста они встретили такую же ватагу молодых людей, совершенно им незнакомых. Сначала обе группы

остановились и молча с удовлетворением разглядывали друг друга. Потом взаимно отвесили почтительный низкий поклон, и те и другие. Один сказал: "Здравствуйте, сеньоры!" Потом протанцевали какой-то непонятный плавный танец, снова поклонились друг другу до земли, кто-то сказал: "До свидания, сеньоры!" – и разошлись, разошлись навсегда, и уже никогда не встречались.

– И ты представляешь! Все это в полном молчании! – с восторгом восклицал Володя.

Я всегда любила слушать эту историю. Я понимала, что этим людям захотелось выразить свое взаимное изумление, опьянение божественным светом белой ночи, выразить взаимное понимание, войти в состояние друг друга... И вот так, молча, с серьезными задумчивыми лицами, протанцевали и разошлись. Разошлись навсегда... Как жаль, что в жизни бывает так мало подобных минут. Но, наверно, поэтому они так особенно запоминаются. И если бывают – то явятся и сразу исчезнут. Исчезнут тоже навсегда.

Для меня белая ночь всегда была связана с Е.А. Тырсой. Я приходила к ней домой, засиживалась допоздна и возвращалась домой одна. Я входила в лабиринты улиц, как в прекрасное сновидение. Ноги легко несли меня с улицы Глинки мимо Мариинского театра по каналу Грибоедова, на Невский, на Фонтанку, и вскоре появлялся дом на улице Белинского.

Я выходила на балкон и долго смотрела на город, такой таинственный и прекрасный. Я

продолжала его любить. И с ним надо было прощаться.

Мы уехали в Москву, а когда через несколько лет приехали в Ленинград, не могли поверить, что это наш город. Новые кварталы обступили и заковали его в безликое белое кольцо новостроек. Никто не ждал нас там. ... Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, милые тени. Вас спугнули или вы все еще там? Кто сегодня разглядит вас в перестроенных, переделанных камнях? Кто сегодня услышит одинокий стук шагов ваших?

Мне не вернуть этого никакими стихами.

Вот, пыталась рассказать, но, кажется, не получилось.

... В Лихове я жила в коридоре, рядом с кухней, в Ленинграде мне случалось жить кое-как и кое-где, но в коммунальных квартирах я никогда не жила, а читала о них так много, что входила туда с бьющимся сердцем.

Но я так радовалась, что увезла Володю, что находила массу преимуществ в коммуналке. Одну комнату проще убрать, чем три с кухней и ванной. Словом, было такое ощущение, будто хомут свалили с плеч. И я всегда вспоминаю те времена добром.

Правда, под окнами все время сновали машины, образовывались пробки перед въездом на площадь и дышать было летом трудно, но до чего же проще и веселей стало жить! Удалось нам и кабриолет сунуть в железный гараж на соседнем дворе.

Наши многие ленинградские знакомые недоумевали – чему мы так радуемся? А я радовалась тому, что спасен Володя – там, в Ленинграде ему бы еще ходить и ходить в космополитах.

И когда через несколько лет мы вступили в кооператив и снова оказались в роскошных хоромах, с какой же нежностью я вспоминала нашу жизнь на Самотечной площади, наше первое пристанище, где, несмотря на бедность, мы так хорошо и весело жили.

”Он думал только о себе”

Рассказывать сны считалось между нами недопустимой слабостью, чем-то непростительно обывательским. Кроме тех случаев, когда к нам приходили сны, как мы их называли, вещие, о которых нельзя было не рассказать. Эти сны бывали редко, и я их все помню, свои и Володины. Вот один из Володиных снов, почти в первый год, как мы стали жить вместе:

”Я вижу красную раскаленную дорогу среди песчаных холмов. Дорога вьется и уходит вдаль. По ней идет один человек. Кругом растрескавшаяся земля, ни души, ни признака жизни. Я слежу за этим человеком, бредущим в океане безмолвия, и слышу голос: ”ОН ДУМАЛ ТОЛЬКО О СЕБЕ...”

И снова вьется дорога, человек, уходя, становится меньше и меньше, и снова голос: ”ОН ДУМАЛ ТОЛЬКО О СЕБЕ”.

Я видела, как был взволнован Володя, рассказывая этот сон, и я не просто проникла в этот

рассказ о сне, а как бы тоже видела его. И я поняла, что Володя не мог думать о себе, он всегда протягивал руку помощи другим и даже не понимал, что можно отказать себе в такой радости. И не отказывал себе в этой возможности и тогда, когда молодость ушла, а вместе с ней и здоровье.

Володя Лифшиц, самый веселый, самый добрый и жизнерадостный, будет сначала биться за скудные заработки, потом станет болеть, у него начнет резко ухудшаться зрение и сдавать сердце, диабет начнет мучить его — и я вспомню про Шварцев и пойму то, чего раньше понять не могла. Мы ведь были тогда моложе. Нам казалось, что мы что-то знаем, а знали мы очень мало. Сегодня нас не поймут те, кто моложе нас, и не надо их за это упрекать. ”Смеется тот, кто плохо осведомлен”. Эти слова мы услышали от Виктора Борисовича Шкловского, и сказал он их в нашей квартире, куда мы переехали в 1955 году. Давно... Мы тогда тоже были плохо осведомлены, мы не знали о том, что нас ждет...

Но думать только о себе Володя не мог. Речь идет не обо мне — мы с ним были едины, и Володя понимал, что заботясь обо мне, он заботится о самом себе и, думая обо мне, думает о себе.

В индийских легендах, которыми я увлекалась, был такой сюжет: Пуруша и Пракрити. Пуруша слепая, Пракрити безногая. Пуруша несет Пракрити на плечах, Пракрити ей показывает путь. Вот олицетворение наших отношений с Володей, мы составляли одно целое. И с каждым годом мы все сильнее привязывались друг к другу, и если мне случалось загадывать желание,

то оно было всегда одно и то же: обоим умереть в один миг. Володя любил меня, и, я думаю, не только как муж. Он нес в себе столько чудесного, детского, что был для меня как бы мое дитя. Его глаза за толстыми стеклами искали меня, и это выражение ожидания, что вот сейчас он меня увидит, рвало мне душу напополам. Он был хорошим, но становился с каждым днем, месяцем, годом все лучше.

Думая обо мне, он не переставал заботиться о близких и дальних, о детях и друзьях.

Пришел черед рассказать о них — о друзьях (о таких, как М.М. Зощенко, я уже немного рассказала), но надо рассказать и о других друзьях, кому Володя отдал много души, кого он любил и кто горячо любил его самого.

Соколов-Микитов

В давние времена, на заре нашей жизни, в Ленинграде, в надстройке на улице Софьи Перовской, мы слышали, как гуляют у соседа наверху.

Мы тогда не были знакомы с Соколовым-Микитовым. Знали, что он известный писатель. По субботам наверху собирались гости, пили, потом пели всегда одну и ту же песню:

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить...

Атаманом был, конечно же, сам хозяин. Красиэый, с густыми бровями. Много повидавший на своем веку. Умеющий многозначительно молчать или крякать. Каждый его рассказ мы впоследствии знали наизусть.

''Был я в Гулле'', – начинал дядя Ваня. Дальше следовала история, как он в Гулле напился с матросами в кабаке и как их всех забрали в участок, а наутро дали чашку очень хорошего кофе и отпустили. Рассказ не стоил того, чтобы повторять его несчетное количество раз, на всем протяжении довольно долгой дружбы (дружбы или общения?).

У Соколова-Микитова было три дочери. Две умерли, и осталась младшая, Алена. Высокая, надменная... Я не была с нею знакома, но при встрече она обдавала нас всех презрением. Почему – кто ее знает. Выяснить этого так и не удалось. Вскоре в доме у Соколовых случилась большая беда. Алена, жившая в то лето под Выборгом, где у И.С. был дом, пошла с соседкой, писательницей Кривошеевой и ее сыном на яхте. Внезапно налетел щквал, и все трое потонули. На наших глазах И.С. осунулся и согнулся. Вот тут и началось наше знакомство.

Подходил его юбилей. Мне поручили тогда купить И.С. подарок.

Помню, И.С. часто и с досадой спрашивал нас с Володей:

– А где же вы раньше-то были? Почему я вас раньше не знал?.

В дальнейшем мы виделись много, постоянно, и, порой, нам было трудно выносить гнет

гостеприимства атамана. Гнет, который предписывал засиживаться допоздна и заниматься однообразными возлияниями. А уж искусство напоить гостя было усвоено дядей Ваней. Не успеешь войти, как Лидия Ивановна, жена его, тащит поднос с рюмками, шпротами... Появлялся штоф с камушками на дне. Это называлось — камушовка. Объяснять Л.И., что нам не хочется или нельзя, было бесполезно. Она внимательно, даже сочувственно выслушивала и начинала потчевать с бесконечными просьбами и уговорами. Наливались рюмки, начинались тосты. Без бутылки было лучше не приходить. Это стало традицией. Приканчивались принесенные, потом И.С. говорил:

— А пошарьте-ка, милая Ирина, у меня там за диваном, на полу — кажется, что-то осталось...

Да, там оставалось. Там много оставалось.

Потом кто-то, чаще я, бежал в магазин за подкреплением. Там, в сутолоке, я хватала еще красного и мчалась обратно в его берлогу. Застолье продолжалось. Неторопливое, важное. "Был я в Гулле..."

Все шло степенно, по заведенному ритуалу. Если мы пытались отсидеться дома, то звонила сначала Л.И., потом брал трубку И.С. и звал. Все шло, как обычно. Купить пару бутылок, ехать через всю Москву на проспект Мира (к тому времени и Соколов-Микитов переселился в Москву), подниматься в лифте на 10-й этаж, позвонить, войти в маленькую комнатку, заставленную старинной мебелью, сесть на диванчик, принять из рук Л.И. поднос с рюмками и закуской.

— Как поживаете, И.С.?

— Как поживаю... Живу, как зверь в яме.

Со зрением у дяди Вани было все хуже и хуже.

У него мы часто встречали молодую чету Чернышевых, Вадима и Аллу. Кажется, это были самые верные и преданные И.С. люди в его жизни. Относились они к Соколову-Микитову с бережным обожанием. Он ценил и любил их обоих. Вадим когда-то, в ранней юности, прочел книги И.С. и сначала влюбился в писателя, а позже, когда познакомился с дядей Ваней, постарался заменить ему все утраченное и отнятое судьбой.

Однажды мы с Володей основали даже специальное общество "ДОЛИС", добровольное общество любителей Ивана Сергеевича, с такой программой: "Любить Ивана Сергеевича!" Был у общества и свой устав:

1. Членом общества может быть каждый, кто любит Ивана Сергеевича.

2. Любовь к Ивану Сергеевичу должна быть активной, но не назойливой.

3. Принадлежащий к ДОЛИСу всегда гуляет по лесу.

4. Члены общества обязуются тщательно скрывать неприязнь друг к другу, вызванную естественной ревностью к Ивану Сергеевичу.

5. Вступительный взнос — "белая головка".

6. Примерный список членов-учредителей ДОЛИСа:

Ирина Лифшиц (Москва)

Владимир Лифшиц (Москва)

Вадим Чернышев (Москва)

Виктор Некрасов (Киев)

Александр Твардовский (Москва)

Факир (Москва) – речь шла о Д.И. Лонго, умевшем глотать шпаги, ходить по горящим углям и делать прочие факирские штучки.

Константин Федин (Москва) – с шестимесячным испытательным сроком, в течение которого он должен осуществить установку телефона у Ивана Сергеевича.

Лидия Ивановня положила этот "устав" в архив и приписала: "В 1-й год нашей жизни в Москве Владимир и Ирина Лифшиц написали эту милую шутку". Ну да, так оно и было...

И.С. в прошлом много путешествовал, где он только ни побывал... Был матросом, знал много о судьбе эмигрантов тогдашней России.

Были у него еще друзья, но мы с ними не встречались. Они проходили как бы фоном. Два раза столкнулись как-то с Фединым. А о Твардовском дядя Ваня тоже однообразно повествовал нам:

– Вот Трифоныч был у меня в Карачарове. Ох, милые, ну и в большой космос уходил... Ох и было...

Быть в космосе означало – напиться до осатанения, в чем Трифоныч и преуспевал с большой самоотдачей, не без содействия своего обожаемого друга и наставника. И.С. всегда говорил о Твардовском с влюбленностью. И о В. Некрасове.

Много нелестных вещей говорил И.С. о Союзе писателей.

— Знать их никого не желаю.

А глядишь, очередной съезд — и снова дядя Ваня снимается в ряду этих самых, кого он знать не хочет, в ряду официальных, прославленных и великих.

А через день все та же фраза: — Знать их не знаю!

И не хитрил ведь Иван Сергеевич — "знать" он их действительно не хотел, но устоять перед славой, юпитерами, аппаратами — не мог.

В застолье И.С. был неутомим. Он продолжал пить, когда совсем уже терял зрение, пил, когда лежал больной, пил, когда умирал. Порою было с ним трудно. Иногда появлялась мысль оборвать эту связь. Получалось как-то так: чем больше мы старались помочь ему, тем больше были должны ему же. И Володя сказал мне однажды:

— Будем исполнять свой добровольный долг до конца.

Но едва у И.С. появлялась возможность коснуться мыслями, осязанием природы, так им любимой, как он преображался, становился совсем иным. Часто И.С. говорил нам, что природа не спасает человека от одиночества, а наоборот, подчеркивает тоску... Он удивительно умел чувствовать ее силу и незащищенность...

Работать И.С. продолжал. Становилось все труднее из-за глаз. Все неразборчивее были подписи на книгах. Как-то, отправляя свою новую книгу в Болгарию, И.С. вывел неровным почерком: "От слепца".

Никто не умел так сильно и хорошо пожать руку и так коснуться первых подснежников, как это умел И.С. Когда мы ранней весной приехали в его дом в Карачарово, И.С. открыл ставни и бережно взял в руки уснувшего шмеля.

Как-то я захотела принести можжевельнику из леса: И.С. боялся комаров и зажигал ветки, чтобы их спугнуть. Но когда я пошла, он вдруг забеспокоился: "Нет, пожалуй, не рвите можжевельника, его так мало в лесу осталось, весь обломали".

Под домом жили ежи. И.С. говорил, что они очаровательно разговаривали на своем языке.

Иван Сергеевич и Володя были совершенно разными людьми, и по времени, и по характеру. Удивительно приятно было слушать их разговор. Иван Сергеевич, кроме всего, был мастером междометий.

– Н-да-а... – скажет Иван Сергеевич по какому-то поводу, и сразу возникает нечто такое... Вступает Владимир Лифшиц, а мы сидим, слушаем, и мысленно аплодируем или смеемся, и нам казалось, что это так и должно быть.

Нет, не так. Это получалось удивительно в разговоре с медлительным и сильным Соколовым и с Володиной реакцией, блистательно это у них получалось.

И дурака тоже можно было повалять. Там, в Карачарове, где директор дома развесил всюду разные благие советы по оздоровлению, там на самом почетном месте вделаны были метровые буквы над клумбой. Надпись гласила: "ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ – ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ".

Я тогда имела фотоаппарат "Контекс", но снимать так и не научилась. Но когда я увидела это воззвание, мне пришло в голову снять Володю и Соколова-Микитова на фоне этого лозунга, идущими навстречу друг другу. В Володином согласии я не сомневалась, но с каким же энтузиазмом принял это предложение Соколов-Микитов. Я приготовилась снимать, а Володя и Иван Сергеевич разошлись по обе стороны плаката и, протягивая друг другу руки, как, видимо, их протягивают друг, товарищ, и брат, двинулись навстречу друг другу.

И.С. был человек всеядный. Кого только не доводилось встречать в его доме, и в Ленинграде, и в Москве. А уж в странствиях – с кем только не сталкивала его жизнь. Куприн, Бунин, Ремизов, отец Набокова, Пильняк, – да разве всех перечислишь? Он дружил с ними. Много знал о них. Переписывался с Буниным, и любил о нем рассказывать.

Иногда Л.И. говорила:

– Ваня, расскажи, как тебя Сталин в Кремле принимал.

Его действительно вызывали в Кремль. Сталин хотел знать объективную причину гибели ледокола "Руслан", спасавшего ледокол "Малыгин".

Увидя И.С. Сталин сказал:

– Читал я ваши книги, знаю вас хорошо.

– Спасибо, что хоть вы-то читаете.

Вот ведь как нашелся, как ответил Берендей (было у него такое прозвище).

Был дядя Ваня и в Александрии, и в Новом Афоне в монастыре, был на Таймыре.

Дядя Ваня настойчиво уговаривал нас построиться рядом с ним на Волге, в Карачарове. Он даже позвал лесников и землемеров, чтобы найти и выделить хороший участок. Но мы были безнадежно бедны, и хотя дома на снос были почти даром, этого нам было не поднять. Впрочем, случись так, что мы оказались бы соседями, мы быстро бы кончили наши жизни "на проценты". Не вынесли бы мы существования нашего землепроходца и сказочника, человека очень своеобразного, но имеющего существенный недостаток. Ему нужно было всегда одно и то же: усадить в своей келье, наглухо закрыть окна, даже в жару, и творить, вершить свое любимое застолье:

— А ну-те ка, не выпить ли нам по рюмочке?

И пили. По рюмочкам, маленьким таким рюмочкам, пили. Пили без перерыва. Отдых наступал только когда дядя Ваня ложился спать. Мы к тому времени совсем выматывались и тоже шли спать во флигелек. Так что, бывая в Карачарове, редко мы видели Волгу или лес. Могучий, грозный, красивый дядя Ваня цепко держал нас в своих руках, и мы подчинялись.

— Все хорошие люди пьют, — любил повторять дядя Ваня. — А вот которые не пьют — это людишки подозрительные. Плохие не пьют.

С большой горечью говорил Соколов-Микитов о многом. Рассказывал, например, об одном колхозе, где, разорив старую церковь, стали делать из икон корыта для свиней.

— Н-да, народ богоносец... Вот ведь во что превратили людей. А, да не налить ли нам по рюмочке...

Оказывая ему в дни его беды, начиная с первой нашей встречи, участие и внимание, мы думали, что мы ему помогаем. Позднее-то мы поняли, что этот человек был сильнее нас. Скоро мы стали его неотъемлемой собственностью. Если нам случалось уезжать куда-то, он огорчался, сердился, хотя любил повторять, что единственное, чему он завидует — это путешествиям. Много очарования было в этом человеке. Взгляды наши во многом совпадали. А вот брат Л.И. — это была наша оппозиция. Брат этот был генерал в отставке. Такой задумчивый сентиментальный генерал... И вот с этим братом, Анатолием Ивановичем, И.С. пускался в длинные диспуты, объясняя генералу, что все военные — убийцы, потому что убивают и других заставляют убивать. И чем выше в чине, тем подлее. Л.И. расстраивалась. Она гордилась своим братом-генералом. Заступалась. Жаловалась: "Вот вчера пришел А.И., а Ваня опять его обидел".

... — Эх, ми-илая, — говорил дядя Ваня, — никогда не стремитесь деньги иметь, потому что сколько бы у вас их не было, будет кто-то, у кого их гораздо больше!..

О каких деньгах шла речь? Еле сводили концы с концами. Но у нас была машина, и однажды мы везли дядю Ваню из Карачарова в Москву. Встречная машина ударила камнем в ветровое стекло. Стекло молниеносно превратилось в сетку бисерных осколков. Володя притормозил, мы некоторое время сидели и молчали. Потом я спросила:

— Что вы подумали, И.С.?

— А я подумал, что переворот, матушка...

С глазами у дяди Вани становилось все хуже и хуже.

В Болгарии нам удалось познакомиться с замечательным целителем, доктором Димковым, и нам стало казаться, что лечение глаз, о котором нам рассказывал Петр Иванович Димков, — травами и особым режимом, — должно спасти И.С. от слепоты.

Случилось так, что, приехав к нему в Карачарово, мы застали дядю Ваню без Л.И. За ним ухаживала ее сестра. А сестре было необходимо срочно уехать в Москву к больному мужу. Решено было, что Володя увезет сестру Л.И. в Москву, а дядя Ваня будет три дня на моем попечении. Вот, будет возможность поговорить с ним о димковском методе. Ну, и пожить мне на воле, на природе, и на Волгу пойти искупаться, и в лес. Но у дяди Вани, как выяснилось, были совсем другие планы. Не успела машина развернуться и уехать, как он довольно сухо и деловито сказал мне, протягивая громадную старую веревочную сетку величиной с мешок:

— А пошли-ка мы с вами, матушка, я тут одну дорожку через лес знаю...

И мы побрели. В лесу дядя Ваня объяснял, какая птица как поет. Вышли мы, наконец, в глухую деревушку, и по хорошо утоптанной тропинке дошли до сельмага. Вот там-то и пошла в дело веревочная сетка. Мы набили ее до отказа бутылками со страшным пойлом. Засургученные эти бутылки тяжелы были, но мы взялись за

ручки и пошли в тихую обитель, где уселись за стол и пили в течение трех суток. Этот поединок я, кажется, выиграла, но тяжелой ценой. От плодоягодного пойла даже привыкшего ко всему дядю Ваню передергивало, и он приговаривал:

– Ну и гадость, прости Господи. Вот ведь поганое зелье...

Но эту гадость мы выпили всю.

Мы говорили. Я, конечно, начала с намерения убедить дядю Ваню, что его глаза можно вылечить, можно помочь, если все силы приложить. Он слушал и посмеивался. Он не верил. Нет, не верил он и не хотел верить в лечение П.И. Димкова. К тому же первым и непременным условием этого лечения был, конечно, отказ от алкоголя. Кажется, это был единственный случай, когда мы с дядей Ваней поссорились.

Потом он вдруг спросил меня:

– А что, Ирина, милая, ведь пришлось вам хлебнуть горя в Ленинграде?

– А вот это, И.С., мое горе и меня только касается, больше никого.

Как всегда в ссоре, вспыхнет первая искра, а потом запылает огонь, и трудно будет понять, кто прав, кто виноват... Я сказала ему несколько вещей малоприятных, он тоже в долгу не остался и выдал мне гадость, не такую, чтоб очень, но достаточную, чтобы во мне вспыхнула жгучая обида. В случаях, когда обида сильна, я умею себя сдерживать. И.С. почувствовал, понял и, по-моему, насторожился. Примирительно сказал:

– А мы с вами, Ирина, милая, если и поругаемся, так только еще больше станем друзьями.

И мы дружили. Дружили и пили. Пили и дружили.

На третий день запасы плодовоягодного кончились. Мы снова взяли сетку и на этот раз пошли в ближайший магазин за шлагбаумом, там купили коньяку и, бережно поддерживая друг друга, направились к дому. По дороге нас обогнала машина. Это приехал из Москвы Володя. Он содрогнулся, увидев мое бледное опухшее лицо.

А в Волге я так и не искупалась. И в лес так и не пошла. И навсегда потеряна была надежда вылечить глаза дяди Вани. И уйти от дяди-Ваниных застолий мы не сумели.

Мы будем его друзьями до конца. Пока он сам не покинет нас — и никогда уже больше не расскажет, как он был в Гулле...

А было ему, дяде Ване, невесело жить — и в Ленинграде, и в Москве, и в Карачарове. Он уходил в воспоминания, и только воспоминания приносили утешение.

Привожу несколько писем Ивана Сергеевича — его странных последних лет — и стихотворение Володи, ему посвященное. Как он — дядя Ваня — радовался Володе...

Ленинград, 24 окт. 1964 г.

Дорогие Владимир Александрович и Ирина Николаевна!

Шлю вам привет и с любовью низкий поклон из Ленинграда. Пожалуйста не гневайтесь на мое молчание. Сижу на своей старой печи. Лид. Ив. порхает между Карачаровым, Москвой и Ленинградом. Внук в Москве. Тащат меня за бороду с печи в Москву, а мне страшно. Боюсь, останется в руках одна борода.

Каково поживаете вы и куда собираетесь?

В конце июля (ежели не рассыплюсь) надеюсь побывать в Москве. Хорошо бы по старой памяти нам пожить рядом.

В Карачарове у нас большие перемены. Рядом с моей берлогой уже построили дом свиданий на высшем уровне. Берлога моя теперь окажется в запретной зоне, не знаю, как поступят с берлогой. Очень хотелось бы встретиться, но страшно слезать с печи.

Обнимаю. И. Соколов-Микитов.

А Ирина-то Пресс! На Олимпе, под облаками! При свидании передайте ей привет от карачаровского отшельника-старца.

Простите, что неразборчиво пишу. С глазами у меня беда. Слепну.

* * *

Карачарово, 12 авг. 1969 г. Ночь.

Дорогие друзья!

Получил письмецо. Все это время тянуло написать вам хоть несколько строк. После отъезда вашего из Карачарова еще больше почувствовал пустоту. Живу барсучьей жизнью. Ночи не сплю, встречаю восход солнышка. Ночью мне легче, лучше слышу тишину.

Живем не очень весело. На душе мерзко.

Лид. Ив. прихварывает. Ей трудновато справляться с хозяйством. Сердце сдает. Без нее я совсем беспомощен.

Живу воспоминаниями. Но как тяжки, невеселы эти воспоминания!

Спасибо вам за все! За верную дружбу.

Обнимаю. И. Соколов-Микитов.

А погодка в Карачарове установилась хорошая. Пришло, наконец, лето. Мух и комаров нет. Появились грибки.

* * *

31 июля 1969 г. Карачарово.

Дорогие друзья!

Давно получили Ваше доброе крымское письмецо. Не могли скоро ответить, – такое беспокойное было время. Сейчас сидим вдвоем в нашей барсучьей норе. Прихварываем. Возможно, просидим в Карачарове весь сентябрь. Погода в последнее время немного исправилась. В лесу появились грибки. На сентябрь, к сожалению, ученые предсказания невеселые.

От Твардовского из больницы я как-то получил довольно бодрое письмецо. Пишет, что корабль остается на плаву, а тайфунщики потерпели поражение. Не знаю, можно ли верить оптимистическим надеждам.

На душе что-то плохо. Почти ничего не делаю. От этого еще хуже. Надеемся, что письмецо это еще застанет вас в солнечном Крыму. В сентябре будем ждать в гости.

Обнимаем. И. Соколов-Микитов.

Здесь в Карачарове гостит Федин. Вижусь с ним редко.

* * *

24 июля 1970 г. Карачарово.

Дорогие друзья!

Получили два добрых Ваших письмеца. Спасибо за память, за дружбу!

Живем в Карачарове не очень весело. У Лидии Ивановны повторяются приступы. Я окончательно слепну. Из норы почти не выползаю. Не радует в нынешнем лете погода: то дождь, то комары, то нестерпимая духота, то холод. Ждем светопредставления.

Как живется вам в армянских Альпах? Помогают ли целебные воды?

Мы, если живы будем, и не произойдет землетрясения, просидим в Карачарове до бабьего лета. С работой плохо. По-прежнему плохо сплю. Видятся страшные сны.

В Карачарове гостят наши молодые. Живут в палатке на острове за Волгой. Лидии Ивановне помогает женщина, с которой она познакомилась в больнице.

Карачаровский князь Борис после переселения подданных в новое острожное здание чувствует себя плохо, замучали его жалобы и доносы, комиссии и подкомиссии, прибывающие из Москвы для рассмотрения доносов. И события в Карачарове невеселые: вешаются и режутся. Волга выбрасывает на берег мертвые тела. Скучновато стало жить на свете.

Что делается в Москве – не знаем. Знаем только, что подорожала водка.

Ох, хорошо бы нам скорее повидаться! Посидеть за столиком, полакомиться карачаровской печеной картошкой. (В Армении-то вы, чай, виноградом и абрикосами питаетесь). А вот к нашему карачаровскому домику из всего леса собрались ежи, ходят и ночью и днем целым стадом, просят кушать. Видно, в лесу харчей стало мало.

Душевно ваш. И. Соколов-Микитов

* * *

И.С. Соколову-Микитову

Мне говорили: может гладь озерная,
А может, сосен равномерный шум,
А может, море и тропинка горная
Тебя спасут от невеселых дум.

Природа опровергла все пророчества,
Пошли советы мудрые не впрок:
Она усугубляет одиночество,
А не спасает тех, кто одинок.

В. Лифшиц.

Александр Гитович

В один из военных дней судьба свела в Ленинграде в нетопленном 124 номере гостиницы "Астория" четверых друзей-поэтов – Александра Гитовича, Владимира Лифшица, Анатолия Чивилихина и Вадима Шефнера.

Споря и захлебываясь, друзья написали "Асторийскую декларацию четырех ленинградских поэтов":

1. Принципы нашей творческой работы, объединявшие нас до войны, объединяют нас и теперь, и выдержали проверку военного времени.

2. Члены содружества поэтов, все до одного, в чем мы не сомневались и раньше, оказались участниками героической борьбы советского народа с немецким фашизмом. Наша повседневная работа на фронте, и кровь, пролитая нашими товарищами, – свидетельство этому.

3. Наша дружба, подвергавшаяся гонениям в предвоенные года, оказалась одной из тех сил, которые помогли нам в труднейших условиях войны и блокады служить своему Отечеству.

4. Наши творческие принципы продолжают быть простыми и ясными: писать правду. (Не лги самому себе – и ты не будешь лгать другим"). В 1940 году Юрий Николаевич Тынянов сказал нам: "Я знаю, за что вы боретесь: вы боретесь за то, чтобы вернуть поэзии утраченную силу слова". Мы отнюдь не желаем, чтобы на поэзию наших лет распространилась оценка: "... многое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум, растет словесный блуд..."

В "частных решениях" к этой декларации четыре поэта (А. Гитович, В. Шефнер, А. Чивилихин и Володя) договорились всегда собирать-

ся в память об этой встрече, готовить посмертные издания стихов павших товарищей и хранить память о них.

Декларации этой Володя и Гитович всегда оставались верны.

Самым трудным оказалось — писать правду...

О дружбе с Гитовичем и Шефнером, о том, как боролись они, чтобы не померкла память о погибших, видно из переписки Александра Гитовича с Владимиром Лифшицем. Письма Гитовича у нас сохранились, а Володины письма — неизвестно где. И вместо того, чтоб писать портрет Александра Гитовича я приведу его письма: в них он такой, каким был — яркий, верный "асторийской" декларации, правдивый и, как все художники, незащищенный.

Нет, он не был защищен ни славой, ни почестями, а уж кто-кто, а Александр Гитович заслужил и то и другое.

Да разве по заслугам честь?..

А честь и мужество были достоянием Гитовича.

Но это услышит и увидит читатель в его письмах.

2. 06. 64

Дорогой Владимир Александрович!

Нет, я не обвиняю Вас в том, что Вы бестактно вмешиваетесь в мои дела. Если бы в них подобным образом вмешивались мои ленинградские друзья, — мне бы жилось легче. Просто, душевно легче.

Слишком они тактичны – эти деликатные ленинградцы.

Теперь я расскажу Вам, как мне пришлось сегодня – впервые за последние годы – оказаться в полном одиночестве.

Вчера я заснул в пятом часу утра. А в половине десятого меня поднял с постели Гранин и отвез на своей машине по Карельскому перешейку. Таким образом, я приобщился к светской жизни и провел около четырех часов в обществе сильных мира сего.

Когда я вернулся домой, на столе лежала телеграмма: "Привозите литиежии Андреев".

Это Андрей прислал свои соображения по поводу того, что надо вести Литлджи на последний день выставки, ибо может случиться так, что она без всяких тревог получит "Чемпиона 1964 г."

Значит – кто-то из ее потомства преуспел на выставке и заработал для мамы некоторое количество очков и баллов. Подсчитав, сколько она теоретически может получить, я понял, что никаких серьезных шансов у моей собачки нет, потому что у нее выставлялось из двух пометов – 12 щенков, а у соперницы пошел на выставку четвертый помет, а всего там – щенков 20. Тут только чудом можно выиграть.

Все это я объяснил Сильве.

Но Вы, дорогой друг, представить не можете масштаба тщеславия Сильвы, если дело касается ее рыжей суки. Ночью – так как Андрей приходит домой поздно – Сильва пошла на почту звонить. Так сказать, уточнить обстановку. Она услышала следующие слова, произнесенные заспанным голосом: "Если не привезете, потом все будем на себе волосы рвать".

Этого было достаточно. Переубедить я не мог. Часов до трех ночи Сильва чистила медали. Я принял четыре таблетки снотворного, утром встал с головной болью и проводил на вокзал свою семью.

Я проводил Сильву и Литлджи, вернулся – и впервые за много лет – меня не встретили блаженным, рыдающим лаем, визгом и счастливыми слезами.

И я узнал цену истинного одиночества.

И сел писать Вам письмо.

Ал.Г.

Конечно, я был прав. Вчера вечером Андрей привез Рыжку. Она получила свою "элиту", золотую племенную медаль и приз. Но в это время, новая чемпионка – гнусная баба и страхолюд – виляла тощим хвостом, а ее мерзкая хозяйка принимала лицемерные поздравления подхалимов.

Но Литлджи опять со мной. И я – старый дурак – хожу именинником.

Ваш – Ал. Г.

* * *

Без даты, 1965

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Вы чувствуете, это написано большими буквами – так получилось вне моей воли. Но я не возражаю – машинка права. Так и надо мне писать Вам.

Итак, получил я Ваши письма, прикинул, что в Малеевку писать уже рискованно и стал звонить Вам в Москву. Звонил я Вам раз десять – слава Богу, за вызовы недорого берут, а то бы совсем погорел. И вот, вернувшись, докладываю Вам обо всем, что было.

Приехала Акума.* Я думал, она устанет, думал: дорого ей обойдется эта поездка. Черта с два! Вернулась бодрая, похорошевшая. Сильве она привезла роскошную ночную рубашку, а мне – приятные для меня новости. Я считаю, что они лучше рубашки.

---

* Анна Андреевна Ахматова в декабре 1964 г. ездила в Италию, где ей присуждена была премия Таормина. "Акума" (в переводе с японского "злой дух") – прозвище, данное Анне Андреевне ее б. мужем В.К. Шилейко – ассирологом и знатоком восточных языков.

Теперь старуха едет в Англию получать мантию, мерка уже снята и отправлена в Оксфорд.

Сразу после съезда был у меня Дима. Но он так молниеносно напился, что ничего толком рассказть не мог. Когда через полчаса пришли Македоновы, то самое приличное из его поэтического лексикона было "проблядь". А мадам Македонова корчит из себя светскую даму. Тут она узнала, что такое высший свет. Я был счастлив: насколько хорош Македонов, настолько нестерпима его подруга жизни. Это любой геолог Вам скажет.

За что меня наказывает Бог? Почему у Вас нет никаких дел с Лениздатом? Или с "Костром"?

Мы бы почесали с Вами языки.

Когда выйдет Ваша книга?

И – как *Некрасов встретился со Стейнбеком?*

Мне на день рождения подарили собаку.

Обнимаю Вас! – Ваш Ал. Г.

Сердечный привет Ирине.

* * *

Без даты

Дорогой друг!

Легко быть немногословным, зная, какое содержание вложено в короткие, суховатые строки письма.

Помните: М.М. Зощенко говорил, что в жизни мужчины бывают действительно торжественные, незабываемые минуты. Одна из таких минут – это когда он слышит голос кассира:

– Сумму напишите прописью...

Моя семья испытала именно такую минуту.

Я все думаю: какие стихи Вам послать?

Не посылать же, в самом деле, всю книгу?

Покамест пошлю Вам самое последнее.

Если Вы его поймете, как осуждение китайских раскольников – Вы будете правы.

Если Вы поймете его, как выступление в Комитете по Ленинским премиям, куда Маяковский направился в бой за правое дело, – Вы тоже не ошибетесь.

Можно понять все это и в самом широком смысле, автор возражать не будет.

Так или иначе – до поры, до времени, да будет это между нами.

Сердечный привет Ирине,

Ваш – Ал. Г.

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

Я представил, не ради забавы,
Что на площади пуст пъедестал,
Что поэт от почета и славы,
Как от медленной казни, устал.

Что покинул он лобное место
И заносит – в жестоком бою –
Над врагами Двадцатого Съезда
Великанскую руку свою.

* * *

Без даты

Дорогой друг!

Только что получил Ваше письмо.

Сейчас Сильва едет в город – и опустит мое, чтобы скорей дошло. Поэтому – очень тороплюсь. С Бродским – дело страшное. Я до всех этих дел часто видел его – он постоянно бывал у Ахматовой, а значит – под моими окнами, так сказать. Но его стихов не знал совсем. Но – уже после фельетона – приехал ко мне профессор геологии и литературовед Македонов и привез стихи "молодого тунеядца". И я со всей ответственностью могу сказать, что если Бродский проживет еще лет 10-20, то цены ему не будет. А если он снова вскроет себе вены, и на этот раз это окажется роковым – все равно его стихи останутся. И кое-кому История никогда не простит.

Два последних дня был занят чтением рукописи того же Македонова – его книги о Заболоцком. Это (вот Вам еще пророчество) может стать на долгие годы самой лучшей, самой *проникновенной* работой о Заболоцком. Может потому, что у этого полубога в геологии – ни черта нет времени.

Думаю – Вам приятно будет узнать, что Ваши стихи о Заболоцком целиком вошли в эту книгу.

Я занят вторым циклом "Пиров в Армении".

Кое-что Вам должно понравиться.

Завтра напишу подробней.

Спасибо Вам! Привет Ирине!

Ваш – Ал. Г.

* * *

Без даты

Милый Владимир Александрович!

Давайте я попробую что-нибудь написать Вам.

Вот и прошли праздники. Сам Новый Год прошел тихо-тихо. Выпил я водочки, чокнулся с Сильвой, закусил и еще выпил. Так мирно мы сидели, что к полуночи я забыл, что у Сильвы припасена бутылка шампанского. А она (Сильва) и не вздумала мне напомнить об этом. Утром – я сам вспомнил, когда опохмеляться пришлось.

А затем явился – кто Вы думаете? Миша Дудин. С коньячком. Сам он не пьет. Но и я с ним не пью. Дескать, за коньяк спасибо – я потом с удовольствием выпью. За последние две недели он уже третий раз приходит – и каждый раз ритуал тот же.

Все-таки он проболтался мне насчет своего друга, некоего Хренкова. Он у нас заведует отделением Литгазеты. Оказывается, когда в Ленинград приезжал Чаковский, – он обо мне спрашивал. А присутствующий при этом Дудин сказал: "Чем спрашивать – вы бы у него стихи попросили". Чаковский взял бумагу и перо, написал мне письмо и поручил Хренкову передать его по адресу. А тот и не думал мне передавать, а в редак-

цию сообщил, что у Гитовича новых стихов нет. Это я выяснил *второго января,* когда Миша явился уже вместе с Хренковым, чтобы я с ним наладил отношения. Тут они водки принесли, Миша, как непьющий, быстро ушел, а я так наладил отношения, что через час иначе, чем дерьмом не называл своего собеседника. И, как раз в это время, приехали Вадим Сергеевич и Катя. У нас с ним на этот счет нет "молчаливого уговора". Сильва говорит, что ничего не изменилось: я и в присутствии Шефнеров остался таким же грубияном. В самом деле, эта сволочь Хренков сказал, что потерял письмо. Ну, потерял, так напиши честно мне, что Чаковский просил стихи и пр. Кое-как он ушел, решив все-таки, что Прокопа валить будем вместе*. Это у них просто пункт помешательства – валить Прокопа. Вот и ходят перед перевыборами. И приносят спиртные напитки.

* * *

Без даты

Милый Владимир Александрович!

Мне привезли в подарок конверты и почтовую бумагу, не очень-то роскошные. Так вот, Вы первый человек, которому я пишу на этой бумаге.

Жара у нас стоит невероятная. И в эту жару пришлось мне съездить в город. Было заседание комиссии по наследству А.А. Ахматовой, и я не мог не поехать. Должен был я сделать только одно: не отдавать дачи, где жила Акума. Ее уже отдавали Розену, Вам хорошо известному. И он сидел бы в комнате Ахматовой, стучал бы там что-то на машинке, на веревке сушилось бы его белье – перед святым для русской поэзии домиком, или будкой, как звала это жилье покойная.

---

* В ленинградском отделении Союза писателей готовились к перевыборам и мечтали заболотировать Александра Прокофьева (Прокопа), ему не могли и не хотели простить его участие в ссылке Иосифа Бродского. Претендентом "на престол" был поэт Михаил Дудин.

Приезжаю на комиссию. Сидят все.

И перед ними сидит Сурков А.А.

И все интеллигенты считают, что перед ними сидит Советская власть.

Распределяют куски пирога: кому редактировать собрание сочинений; кому однотомник; кому книгу в Лениздате. Кому – примечания. Все хотят войти в Историю. Другого способа – нет.

А мне нужно отстоять будку.

Единственный, кто помогал мне – Жирмунский. Этот академик только забыл мою фамилию, имя и отчество. Хотя только вчера приходил ко мне на дачу. Назвал он меня так: наш дорогой друг, писатель, все это дружески улыбаясь. И лепетал насчет дачи. Больше всего его поразило, что я называю Суркова на ты. Аж испугался старик. Сурков сначала мялся: дескать, в Ленинграде отцы города – он с ними говорил – не дают согласия на мемориальный домик. А потом проговорился: "В конце-концов, сказал А.А., – дача принадлежит Союзу, а не отцам города. Надо попытаться уговорить правление".

– Алеша! – завопил я, пьяный от жары, – если ты *еще* помнишь дороги Смоленщины, – ты уговоришь правление.

И – представьте – подействовало на генерала.

По-моему, я отбил будку.

Потом я сказал Вадиму Сергеевичу: пойдемте, выпьем по рюмочке. Пошли и выпили в десять раз больше. Выпив как следует, странные вещи говорил мне наш общий друг. Например, он сказал, что моя слава выше, чем его слава: дескать, моя слава – подпольная, а его – официальная. Я спросил: даже если это так, хотя я както не ощущаю славы, то он, Шефнер, радуется или огорчается этому обстоятельству?

Дима уклонился от ответа.

Но расстались мы нежно, и в окно электрички В.С. кричал, что я его единственный друг.

А когда мы сидели в совершенно пустом ресторанчике – открывается дверь и ко мне с сияющим лицом

бросается Бродский Иосиф. А за ним шествует молодой, узкоплечий, впалогрудый человек, в котором я только потом узнал Евтушенку. Вот об этом, если Вам интересно, – в другой раз. Я надеюсь, Вы распознали мой хмельной почерк.

Стихи пришлю обязательно. В следующий раз. Исправить их надо.

Обнимаю Вас – Ваш Ал. Гитович

Привет Ирине. Приехали бы!

* * *

Без даты

Дорогой друг!

На днях мне принесли "Смену". Там две полосы стихов, под общим заголовком "Мы защищали Ленинград". Скромный заголовочек. Там также помещена статья Владислава Шошина, специалиста по ленинградским поэтам, работавшим в блокаде. Он и в "Неве" опубликовал исследование на эту тему. И там, в "Смене" – по алфавиту – все поэты налицо. От Азарова до моего друга Шефнера. Никто не забыт и ничто не забыто. Кроме твоего покорного слуги и Володи Лифшица, комиссара батальона, получившего пулевое ранение в боях за Гатчину, стихотворение которого "Баллада о черством куске" знал чуть ли не весь Ленинград.

И еще: о Глебе Пагиреве. Он, правда, не состоял тогда членом Союза Писателей. Он командовал ротой и, в боях за снятие блокады, был переранен так, что неизвестно, как жив остался. Там, на фронте, он написал свои солдатские стихи о великой битве. Эти стихи вошли затем в его книги и могли бы украсить любой сборник, посвященный победе под Ленинградом.

Если же прочитать статью фронтовика Шошина, то оказывается, что вся секция поэтов, во главе с Брауном, грудью защищала город Ленина, а мы – трое – загорали под солнышком Средней Азии.

Ты знаешь, чувство литературного самолюбия у меня

давно атрофировалось. Но вот офицерское самолюбие, к сожалению, осталось.

Таким образом, мне нанесен хорошо рассчитанный удар. А главное – своевременный.

Ал.Г.

* * *

Без даты

Дорогой Владимир Александрович!

Знаете, я стал побаиваться Вас: Вы страшны в гневе. И не дай Бог попасться Вам на язычок.

На войне Вы были помягче. По крайней мере, по отношению к Эренбургу.

Кстати, о войне. Вы и представить не можете, как я рад, что переиздаются Ваши повести. Притом по разным причинам. Вот приедете – все расскажу. А приехать Вам просто нужно. Уж поверьте мне.

Что касается высокомерия – то у меня есть право на него и еще долго будет: допустим, книга моя выйдет – ну и что? Новых стихов у мнея не так уж мало. Но и не так уж много. А представим, что их 100. Значит, 800 строк. Ну и считайте – по рупь сорок.

Вот сценарий – это другое дело. И напишу я его обязательно. И раньше срока.

Ко мне сейчас иногда заглядывает Гранин. Как-то он рассказал мне поразительную вещь о том, как ректор нашего Университета, ныне академик, А.Д. Александров публично уничтожил доктора наук, знакомого нам Наумова. Назвав его доносчиком и подлецом (дело шло о поэзии!).

Напомните мне, когда приедете. Изложу во всех подробностях. Это и для столицы интересно.

Пишите, дорогой друг, и приезжайте.

Нежный привет Ирине.

Ваш – Ал. Г.

* * *

Без даты

ОТЧЕТ ДРУЗЬЯМ О МОЕМ БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

(письмо первое)

Вчера, часов в шесть вечера, уже стемнело, – залаяла собака. Сильва пошла посмотреть, оказывается, почта. Никогда так поздно почту не носят. И я сразу получил три письма – все от художника Б.Ф. Семенова. Это – остальным в укор.

Сейчас 13 часов 50 мин. по местному времени. Только что ушел от меня Вадим Сергеевич Шефнер, а Сильва уехала в Зеленогорск за лекарством, название которого я не знаю и знать не хочу. Это дает мне возможность встать с постели и постучать на машинке.

Бедственность моего положения заключается в следующем. Несколько дней тому назад наш комаровский доктор, раскормленный розовый бугай еврейского происхождения, прислал одну из своих девок с каким-то идиотским аппаратом, которым проверяют бедные человеческие сердца. Вообще-то надо было проверять у Сильвы, но вы знаете характер моей супруги: заставили проверять и меня. Проверили. И вот, вчера, явился вышеупомянутый ветеринар, которому я ни за что не доверил бы свою рыжую собаку и, по его сияющей морде и поганой улыбке на ней, я сразу понял, что дело мое плохо. И, конечно, как в воду смотрел. Этот сын Бен-Гуриона (которого фрицы пощадили на войне, чтобы он вызывал живое чувство антисемитизма у нормальных советских людей) сказал, потирая свои жирные руки гестаповца, сказал, что у меня или прединфарктное состояние (я не умею писать это слово) или, что еще хуже, я перенес инфаркт на ногах. А у Сильвы, дескать, сердце, как у здоровенного младенца, четырех лет от роду. Можете ли вы, дорогие друзья, представить, что было дальше? Не можете. Но вы узнаете это, "если пойдете туда, куда я вас поведу".

Если бы это исчадие ада, зачатое Гитлером в то время, когда он находился в самом зените своего ханжеского здоровья, если бы эта помесь гиены и борова с документом об окончании Советского вуза сказал все это, будучи со мной наедине, как мужчина мужчине, – все было бы в полном порядке: я был бы счастлив за Сильву, а что касается меня, то я себя знаю лучше, чем этот палач вместе с его фашистским аппаратом.

Но не таков этот эсэсовец. У него все было продумано. Он, сволочь, все расписал до мелочей, пока ехал в своей "Волге", которую ему предоставили какие-то простаки из Горздравотдела. Дегенерат в белоснежном халате сел на стул, который треснул под его слоноподобной задницей, и стал читать лекцию, не вообще о болезнях сердца, а именно о моем, как будто только оно интересует его на всем белом свете. Он здорово ненавидел мое сердце. Он говорил о нем, как о политическом преступнике. Как некогда говорили о врагах народа. И все это при Сильве. Не стесняясь. Потом он перешел на печень. Потом на почки. Потом на желудок. В комнате засмердело человеческими внутренностями.

Если бы с ним была его машина, сконструированная Эйхманом, и он снова бы проверил сердце у Сильвы, – неизвестно, у кого бы она обнаружила прединфарктное состояние.

После всего этого он ушел к своей "Волге". По-моему, в дверях он пукнул. Но, возможно, мне показалось. Ручаться не могу.

Теперь, по распоряжению идиота, я должен лежать. Не пить. Не работать. Почти (!) не читать. Почти (!) не курить. Есть сырую капусту. Хорошо спать. Не думать о плохом. Восхищаться современной медициной в лице некого Гурвича, Михаила Григорьевича.

Прошу запомнить эту фамилию, имя и отчество: может быть, при случае сумеете за меня отомстить.

Ради Бога, пишите. Обнимаю вас – Ал. Гитович.

* * *

Без даты

ОТЧЕТ ДРУЗЬЯМ О МОЕМ БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
(Письмо второе)

Дорогие друзья! Вы, возможно, подумали, что мое письмо о садисте Гурвиче принадлежит к жанру юмористических рассказов. Что в этом письме допущены гиперболы, именуемые теперь извращением действительности. Я и сам был склонен думать так. И все же, если вы перечитаете письмо, вы почувствуете там нотки справедливого гнева. Так сказать, разоблачение классового врага.

Так вот, третьего дня, прикатывает ко мне сей комаровский знахарь. Торжественно объявляет, что на завтра он вызвал специалиста-сердечника, который будет заниматься мной и давать руководящие указания. Все ясно: если я загнусь – могут свалить на Гурвича. Оттого-то он и постарался заполучить ленинградского специалиста. А Гурвичу охота, чтобы я загнулся. Потому что я, старый комаровец, отлично могу догадаться, на какие деньги он выстроил себе двухэтажную дачу и кому продает спирт по сходной цене.

– Значит, – говорит мне родственник Аль-Капоне, – завтра я пришлю за вами машину. Поскольку у вас постельный режим и типично прединфарктное состояние, то ходить пешком по снежным сугробам для вас равносильно смерти.

– А почему бы вашему сердечнику не приехать ко мне? – робко спрашивает тот, кого приговорили к незримой висилице.

– Видите ли, – отвечает внебрачный сын сенатора Голдуотера, – вам нужно сделать повторную кардиограмму. На самой лучшей машине. Такая у меня есть. Но она стоит 11 тысяч и я не могу доверить ее своим работникам. Так вот, заодно и специалист вас посмотрит, и кардиограмму вам сделают...

Боится, потомок Соньки Золотой Ручки, что медсестра и шофер сопрут у него вышеупомянутую машину.

На завтра пошло все как по маслу. "Москвич" приехал во-время. Это сразу насторожило меня, старого фронтовика: нет ничего хуже, если с самого начала операция складывается так, как будто это не война, а маневры.

Поэтому я оделся потеплей – надел валенки и самый теплый свитер и так же велел одеться Сильве, оказавшей сопротивление. Скоро вы узнаете, был ли я прав.

Через четыре минуты мы были на хазе у Гурвича. Ровно пятьдесят минут просидели в приемной, где ждало человек десять полузамерзших жертв. Можно было подумать, что это арабы из Египта или из Иордании, с которыми у правоверного Гурвича свои особые счеты. Тут-то я узнал, что такое постельный режим по-израильски.

Наконец, дверь приоткрылась и была вызвана Сильва. Оказывается, надо сначала сделать кардиограмму. Это – в соседнем доме, где располагается научная часть гестапо. Там – потеплей. Имея в виду предбанник. Посидели 35 минут. Я все время поглядывал на свои офицерские часы. Ладно. Сделали кардиограмму. Вернулись. Очередь приняла нас в свои хмурые, озлобленные ряды. Через сорок минут снова вызвали Сильву. Пусть, дескать, Александр Ильич зайдет, и мы пропихнем его без очереди. Поскольку я уже пробыл на постельном режиме уже больше двух часов, а передо мной оставались всего три окоченевших посетительницы рабочего класса, – я от протекции отказался. Я вышел на свет Божий, где температура была почти такая же, как в зале ожидания, но почему-то легче дышалось. Я устроился на крылечке, закурил папироску и стал думать на тему о том, как хорошо было на фронте, особенно, когда раздобудешь трофейного шнапса.

Врачом-сердечником оказалась пожилая симпатичная женщина. Очень внимательная. Она задала столько вопросов, как будто дело шло о том, чтобы направить

меня на секретную работу заграницу, в самое логово врага. И тут я совершил единственную, но роковую ошибку. Я сказал, что мне трудно ответить на такую анкету, но со мной жена – и она-то все знает лучше меня.

И все остальное стало происходить при Сильве.

А все остальное заключалось в том, что моя добросердечная врачиха оказалась похлеще Гурвича, посуливщего мне инфаркт. Хотя сделала она это по другим соображениям: она, безусловно, желала мне добра. Она могла бы руководить приютом для бедняков в Англии, во времена Диккенса. Она категорически запретила мне все, даже чтение. При этом она приговаривала:

– Как вы, культурный человек, не понимаете, что вам нельзя читать! А тем более писать!

В общем, она пошла дальше Гурвича и пригрозила мне инсультом.

Но Гурвич не предусмотрел, что его специалистка, хотя и была женщиной педантичного склада ума, но все равно, мужик ее перехитрит: она разрешила мне слушать радио. Видать, миляга, думала, что я по радио слушаю только классическую музыку.

Держала она меня очень долго – на этот раз прошло около часа. Она делала это для моего добра. Но не для добра сидящих в очереди. Когда я выходил, я заметил, что пациентка, сидящая у двери, чем-то напоминает женщин времен блокадной зимы. Впрочем, я забегаю вперед.

Поскольку моя наивная врачиха свято верила, что меня отвезут на машине, она устроила мне, силой своего авторитета, укол магнезией в задницу. Укол делала та самая благодетельница, которая вызывала Сильву. При этом она рассказывала такие анекдоты, которые я постеснялся бы рассказывать друзьям в больнице для алкоголиков. Хорошо. Укол мне сделали, предупредив, что это самый болезненный из уколов. Для бодрости, так сказать.

Теперь настало время рассказать вам об эффектном окончании спектакля, задуманного и поставленного

Гурвичем. Этот финал я предвидел. Сильва и шофер не дадут соврать: я предсказывал его, еще сидя в "Москвиче".

Так вот, когда через три с половиной часа, проведенных мною под гнетом болезненных уколов, бестактных вопросов и удручающих угроз, меня, наконец, отпустили – то *машины не оказалось.* Через тонкую стенку камеры я слышал, как моя добрая сердечница кричала на Гурвича. И слышал его гнусные ответы. Выйти ко мне он испугался и, таким образом, удержал меня от преступления. Потому что, видит Бог, я бы изуродовал его антисемитскую морду.

И я пошел вместе с моей, доведенной до отчаяния, Сильвой. Пошел домой. По снежным комаровским тропинкам, "хождение по которым для меня равносильно смерти". Как заботливо предупредил меня добрый труженик медицины.

И задница у меня здорово болела. Видать, она сильно постарела, сдала, и я до сих пор чувствую мою славную порцию магнезии.

Сегодня меня опять должны были колоть. Но никто не пришел. Наверно, Гурвич думает, что магнезия, действительно, может мне помочь.

Дорогие друзья! Товарищи фронтовики! Вспомните годы Священной Войны с фашизмом! Вспомните знаменитое стихотворение Симонова "Убей его!"

И вы поймете меня.

Искренне Ваш – Ал. Гитович

Вам, быть может, любопытно будет узнать, как я ухитряюсь работать, если сочинение писем можно назвать работой. Я от вас ничего не скрою – во имя передачи опыта.

Теперь, когда Сильва уходит в магазин, я надеваю штаны и переношу пишущую машинку на кухню. Устраиваюсь за столом, стоящим у окна. А из этого окна местность просматривается метров на 150, не меньше.

* * *

А затем мы получили письмо от жены Гитовича – Сильвы.

29 августа 1966

Дорогой Володинька!

Когда ты приветствовал Саню из Софии, его уже не было в живых. Жизнь страшная штука.

9-го мы вдвоем собирались ехать в город, чтобы заверить доверенность, которая у меня окончилась. Саня упал, потерял сознание и умер.

Врач сказал, что это результат бури, которая была накануне. Я не повезла его в Союз. Мне не хотелось, чтобы выступали у гроба разные люди, которых он не уважал. Похоронила я его на комаровском кладбище рядом с Анной Андреевной.

Мне очень трудно писать тебе все, как было. Может быть, ты будешь в Ленинграде, и тогда я тебе все расскажу.

Сейчас я живу в Комарове, так как нужно разобрать санины рукописи. К 1 октября переезжаю окончательно в город и спешно устраиваюсь на работу. Куда, еще сама не знаю.

Будь здоров.

Твоя Сильва.

Плохо жить на свете, ох как плохо.

Привет Ирине.

* * *

ТРЕТЬЕ ПРОЩАНЬЕ

Александру Гитовичу

Мы расстаемся трижды. В первый раз
Прощаемся, когда хороним друга.
Уже могилу заметает вьюга,
И все-таки он не покинул нас.

Мы помним, как он пьет, смеется, ест,
Как вместе с нами к морю тащит лодку,
Мы помним интонацию и жест
И лишь ему присущую походку.

И вот уже ни голоса ни глаз
Нет в памяти об этом человеке,
И друг вторично покидает нас,
Но и теперь уходит не навеки.

Вы правду звали правдой, ложью – ложь,
И честь его – в твоей отныне чести.
Он будет жить, покуда ты живешь,
И в третий раз уйдет с тобою вместе.

Вл. Лифшиц

Один за другим уходили друзья. Пустел наш дом. В 1955 г. Володя мне посвятил стихотворение о доме. У нас был дом, счастливый дом.

* * *

И.Н.К.

Вы мне напомнили о том,
Что человеку нужен дом,
В котором ждут.

Я сто дорог исколесил.
Я молод был и я спросил:
– Быть может, тут?..

Не поднимая головы,
– Быть может, тут, – сказали вы, –
Смеяться грех...

Война... И тяжкий ратный труд.
И кровь... Но дом, в котором ждут,
Он был у всех.

Я, как и все, в пути продрог.
Он полон был таких тревог,
Он так был крут...

Стою с котомкой под окном.
Открой мне двери, милый дом,
В котором ждут.

Но этот дом не был оторван от общей жизни, и его посещали беды, как они и посещали других.

Последние годы Володя мучительно болел. И тут его ожидала еще одна беда — отъезд сына в Америку. Он сам рассказал об этом — в письме к сыну.

* * *

Здравствуй, Леша!

... Ну, ладно. Дело сделано. И, конечно, все, о чем мы прежде договорились, в том числе "обеспечение тыла", остается в силе. Есть в твоем письме одно место, которое привело меня в смятение. Это то, где ты пишешь, что достаточно было одного моего слова, чтобы вы "с легкой душой" отказались от своего плана... Леша! Есть вопросы, которые взрослый человек должен решать сам и только сам. Я не считал и не считаю себя вправе ни уговаривать, ни отговаривать. Есть множество "за" и "против", которые вы, надо думать, хорошо взвесили. Нет ли в том, что ты пишешь о моем "одном слове", желания (может быть, неосознанного) перело-

жить ответственность за последствия вашего решения на мои плечи? Ты знаешь, что я не из тех, кто боится ответственности, но эту я на себя не беру. Это решаете вы сами. И любое ваше решение я пойму и прощу.

Думаю, к слову сказать, что даже получение того, что ты ждешь, еще не есть окончательное решение вопроса. Это можно принять, а можно от этого и "с негодованием" отказаться.

Что касается нас с Ириной, то мы отрешились от иллюзий и радужных надежд, и заглянули правде в глаза. Мы пожилые люди, сильно потраченные жизнью. Мы оба больны. Я тяжелый инвалид, теряющий зрение. Мы опоздали на этот поезд. Сесть в него мы могли бы лишь при исключительно благоприятных обстоятельствах.

Об остальном поговорим при встрече. Пятнадцатого числа мы уедем под Киев, в Ирпень, в Дом творчества, чтобы, наконец, отдохнуть. Может быть, приедешь еще на день до нашего отъезда. Позвони.

В одном полностью с тобой согласен: мы действительно принимаем близко к сердцу происходящее, и вы действительно нам дороги, так же, как мы дороги вам, в чем у меня нет сомнений.

* * *

А вот письмо, которое Володя написал себе самому в свою 51-ю годовщину.

В. Лифшицу

Мой дорогой и любимый Володичка!

От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения и желаю здоровья, счастья и многих лет жизни!

Вот уже полвека и один год ты коптишь небо. И что же? Да ничего особенного! Другие тоже коптят. За исключением Коптяевой. Та не коптит, а чадит.

Вот ты — сочинитель. Что же ты сочинил? Чепуху и галиматью. Но ты не огорчайся. Другие сочиняют не лучше. А многие даже еще хуже, хотя это трудно себе представить.

Ты прожил большую и бесславную жизнь.

Будь здоров, дорогой!

Любящий тебя
Владимир.

1964, 5 ноября

У последнего порога

Мы часто говорили о смерти. Хотелось уйти из этой жизни разом, вместе. Но как?

Володя болел и как бы подводил итоги:

Луна над долиной
холодное льет серебро
И в том серебре
утопает ночная дорога...
Так что же творил я?
Творил я и зло и добро.
Прости меня, Боже,
добра, к сожаленью, не много...

Но подлое время
нас всех охмуряло хитро,
И если учесть
ту особенность нашей эпохи,
Что в ней полагалось
друг друга казнить за добро,
То, может быть, это
не столь уж ничтожные крохи?

Володя готовился к смерти и написал распоряжение на случай своей смерти:

1. Тело кремировать.

2. Хочу, чтобы никто не видел меня мертвым. И чтоб на моих похоронах присутствовали только моя жена И.Н. Лифшиц и мой друг В.Н. Чернышев с женой Аллой.

(Сын его Алексей Лосев был уже в Америке).

3. Никаких прощаний, надгробных речей, поминок и т.п. не устраивать.

4. Урну захоронить также, как и произвести кремацию, без всяких ритуалов, без присутствия родственников и знакомых. Сделать это ни в коем случае не на кладбище в Вострякове, а на любом другом. Там же должна быть захоронена в свое время и урна с прахом моей жены И.Н. Лифшиц.

Хотелось бы, чтобы это было на кладбище в Переделкино.

8.05.77
Москва.

* * *

Я похоронила Володю, как он хотел, на тихом сельском кладбище в Переделкине, на берегу реки Сетунь.

Он написал мне письмо, которое я так и озаглавлю:

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ИРИНЕ

Дорогая Ирина!

Вот и мне захотелось написать тебе письмо.

Может быть, я подумал, написанное прозвучит убедительнее, чем сказанное.

Я тебя никогда никому не отдам. Ни старости, ни водке, ни болезням. Не отдам тебя и твоему одиночеству. Я буду с тобой до конца, – моего или твоего, это уж как Бог решит. Я – единственный человек на земле,

которому ты дорога, который тебя любит и предан тебе. Без тебя для меня жизни нет. Ты вошла во все мои помыслы, стала вторым моим я; когда я пытаюсь представить себя без тебя, это так же страшно, как страшно мне бывает по утрам в темной комнате открывать глаза – и не знать, увижу я сейчас полоску света над занавеской в окне или не увижу...

Жить становится все трудней. Ты верно сказала, – переходим какой-то важный рубеж. Многое (и многие) становится ненужным. Надо сменить образ жизни. Надо отсечь то, что стало лишним и обременительным. Мы уже начали это делать.

Старость – это нелегкая работа. Ее нужно делать. У нас с тобой есть некоторые достижения. Мы никому не в тягость. Мы жили и живем без подлости, а ведь это не всем удается в наше подлое время.

Не бросай меня. Не отчуждайся от меня. Я без тебя погибну. Нам ведь не так уж долго осталось бороться. Долголетие нам не грозит.

Давай помогать друг другу. Мы оба в этом нуждаемся.

Твоя депрессия затянулась. Но она пройдет, как проходила прежде. Откатит. Борись с ней, не поддавайся. Эта гадина только того и ждет, чтобы ты поддалась. Смейся над ней, как смеюсь я над темнотой, которая мне грозит. Хотя бывает страшно.

У меня нет слов, чтобы выразить, как я тебя жалею и люблю.

В.

Вот уже три года, как умер Володя. Я живу и не живу, и жду своего часа, чтобы быть рядом с ним, около Сетуни, в Переделкине, где он и похоронен.

1980

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, **Воспоминания,** карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, **Воспоминания,** книга вторая, карманный формат, цена – 12.00

Валерий Чалидзе, **Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России)**, цена -- 7.00

Коран. Перевод *Крачковского,* карманный формат, цена -- 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена -- 5.00

Николай Евреинов, **История телесных наказаний в России,** цена -- 15.00

Николай Валентинов, **Встречи с Лениным,** карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, **Иностранец в России, юридическая памятка,** карманный формат, цена – 6.00

Петр Гарви, **Профессиональные союзы в России после революции,** цена -- 7.50

В. Буковский. **Письма русского путушественника.** Цена 12.00

Хельсинкское движение, цена – 7.50

Николай Новиков, **Эрнст Неизвестный: искусство и реальность,** цена – 10.00

Серан Киркегор, **Наслаждение и долг.** Репринт, 420 стр., цена – 15.00

З. Авалов, **Присоединение Грузии к России,** репринт, 320 стр., цена – 15.00

СССР: внутренние противоречия, редактор *В. Чалидзе;* цена выпуска – 15.00

Зимин, **Социализм и неосталинизм,** цена – 9.00

Цыганско-русский словарь, репринт, цена – 25.00 (малотиражное издание)

Ответственность поколения, цена – 8.00

Интервью В. Чалидзе с Татьяной Литвиной, Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Мстиславом Ростроповичем и другими.

Георгий Федотов. **Россия и свобода,** цена – 15.00

О. Иоанн Мейендорф. **Православие в современном мире,** цена – 12.00

Проблемы Восточной Европы, ред. *Франтишек и Лариса Силницкие* цена выпуска – 9.00

Л. Копелев. **На крутых поворотах короткой дороги.** Цена 7.00

Юз Алешковский. **Синенький скромный платочек. Скорбная повесть.** Цена 7.00

Солженицын в Гарварде. Пер. с английского. Цена 15.00

И. Яхот. **Подавление философии в СССР (20-30 гг.)** Цена 15.00

Б. Рассел. **История Западной философии.** – 30.00

Фридрих Ницше. **Так говорил Заратустра.** Цена 15.00

П. Кушников. **Армейский дневник 1917 года.** Цена 10.00

Законодательство о религиозных культах в СССР. Цена 9.00

Р. Орлова. **Последний год жизни Герцена.** – 6.00

Евгений Гнедин. **Выход из лабиринта.** – 8.00

З. Фрейд. **Толкование сновидений.** – 15.00

Грузинская кухня. Цена 6.00

Русскоязычный Нью-Йорк – 1982. Цена 1.00

Александр Дюма. **Ожерелье королевы.** – 9.00

Добавьте 50 центов за пересылку каждой книги.

Заказы направляйте по адресу:
CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018



С портрета Ирины Кичановой
работы Владимира Лебедева, 1940 год